

ИГОРЬ ВЪИТЪ
МТИР

1



1963

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIX

№ 1

Январь, 1963 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е И С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МИХАИЛ ЛУКОНИН — Минуты века, стихи	3
А. СОЛЖЕНИЦЫН — Два рассказа	9
АННА АХМАТОВА — Из новых стихов	64
И. ЭРЕНБУРГ — Люди, годы, жизнь. Книга пятая	67
ЛЕОНИД ВОЛЫНСКИЙ — Сквозь ночь. К истории одной безымянной могилы	113
ВИКТОР КИН — Лилль. Из неоконченного романа о первой мировой войне	144
ОГДЕН НЭШ — Стихи разных лет. С английского. Перевела И. Комарова	153

В МИРЕ НАУКИ

И. ЗАБЕЛИН — Человек коммунизма, природа и наука	160
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

И. ПЕШКИН — Операция «ХЛ»	185
---------------------------	-----

В МИРЕ ИСКУССТВА

ТАТЬЯНА БАЧЕЛИС — Режиссер Станиславский (К 100-летию со дня рождения)	199
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ю. МАНН — Художественная условность и время (К вопросу о современном стиле)	218
Ф. БИРЮКОВ — «Железный поток» и его комментаторы (К 100-летию со дня рождения А. С. Серафимовича)	236

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

В. Гривнин, кандидат филологических наук. Боевой год	245
--	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	249
Е. Старикова. Прощание с юностью.— О. Чайковская. Рассказы молодого писателя.— А. Берзер. Из лучших побуждений...— В. Гаевский. О Дорошевиче и его фельетонах.— Б. Зингерман. Книга историка и критика.	
<i>Политика и наука</i>	267
А. Яковлев. Население нашей страны.— Л. Лопатников. На подступах к новой науке.— М. Гутин, кандидат исторических наук. Это и есть подвиг.— Профессор Г. Кассиль. Они рисковали жизнью.— А. Бельская. Манифест Уильяма Дугласа.	
КОРОТКО О КНИГАХ	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

А. СОЛЖЕНИЦЫН

★

ДВА РАССКАЗА

Случай на станции Кречетовка

- **А** ле, это диспетчер?
- Ну.
- Кто это? Дьячихин?
- Ну.
- Да не ну, а я спрашиваю — Дьячихин?
- Гони цистерны с седьмого на третий, гони. Дьячихин, да.
- Это говорит дежурный помощник военного коменданта лейтенант Зотов! Слушайте, что вы творите? Почему до сих пор не отправляете на Липецк эшелона шестьсот семьдесят... какого, Валя?
- Восьмого.
- Шестьсот семьдесят восьмого!
- Тянуть нечем.
- Как это понять — нечем?
- Паровоза нет, как. Варнаков? Варнаков, там, на шестом, четыре платформы с углем видишь? Подтяни их туда же.
- Слушайте, как паровоза нет, когда я в окно вон шесть подряд вижу.
- Это сплотка.
- Что — сплотка?
- Паровозная. С кладбища. Эвакуируют.
- Хорошо, тогда маневровых у вас два ходит!
- Товарищ лейтенант! Да маневровых, я видел, — три!
- Вот рядом стоит начальник конвоя с этого эшелона, он меня поправляет — три маневровых. Дайте один!
- Их не могу.
- Что значит не можете? А вы отдаете себе отчет о важности этого груза? Его нельзя задерживать ни минуты, а вы...
- Подай на горку.
- ...а вы его скоро полсуток держите!
- Да не полсуток.
- Что у вас там — детские ясли или диспетчерская? Почему младенцы кричат?
- Да набились тут. Товарищи, сколько говорить? Очистите комнату. Никого отправить не могу. Военные грузы и те стоят.
- В этом эшелоне идет консервированная кровь! Для госпиталя! Поймите!
- Все понимаю. Варнаков? Теперь отцепись, иди к водокачке, возьми те десять.
- Слушайте! Если вы в течение получаса не отправите этого эшелона — я буду докладывать выше! Это не шутка! Вы за это ответите!

— Василь Васильич! Дайте трубку, я сама...

— Передаю военному диспетчеру.

— Николай Петрович? Это Подшебякина. Слушай, что там в депо? Ведь один СУшка уже был заправлен.

— Так вот, товарищ сержант, идите в конвойный вагон, и если через сорок минут... Ну, если до полседьмого вас не отправят — придете доложите.

— Есть прийти доложить! Разрешите идти?

— Идите.

Начальник конвоя круто, четко развернулся и, с первым шагом отпустив руку от шапки, вышел.

Лейтенант Зотов поправил очки, придававшие строгое выражение его совсем не строгому лицу, посмотрел на военного диспетчера Подшебякину, девушку в железнодорожной форме, как она, рассыпав обильные белые кудряшки, разговаривала в старомодную трубку старомодного телефона, — и из ее маленькой комнаты вышел в свою такую же маленькую, откуда уже дальше не было двери.

Комната линейной комендатуры была угловая на первом этаже, а наверху, как раз над этим углом, повреждена была водосточная труба. Толстую струю воды, слышно хлеставшую за стеной, толчками ветра отводило и рассыпало то перед левое окно, на перрон, то перед правое, в глухой проходик. После ясных октябрьских заморозков, когда утро заставляло всю станцию в инее, последние дни отсырело, а со вчерашнего дня лило этого дождя холодного не переставая так, что удивляться надо было, откуда столько воды на небе.

Зато дождь и навел порядок: не было этой бестолковой людской перетолчки, постоянного кишения гражданских на платформах и по путям, нарушавшего приличный вид и работу станции. Все спрятались, никто не лазил на карачках под вагонами, не перелезал по вагонным лесенкам, местные не перлись с ведрами вареной картошки, а пассажиры товарных составов не бродили меж поездов, как на толкучке, развесив на плечах и руках белье, платье, вязаные вещи. (Торговля эта очень смущала лейтенанта Зотова: ее как будто и допускать было нельзя и запрещать было нельзя — потому что не отпускалось продуктов для эвакуируемых.)

Не загнал дождь только людей службы. В окно виден был часовой на платформе с зачехленными грузами — весь облитый струящимся дождем, он стоял и даже не пытался его стряхивать. Да по третьему пути маневровый паровоз протягивал цистерны, и стрелочник в брезентовом плаще с капюшоном махал ему палочкой флажка. Еще темная малорослая фигурка вагонного мастера переходила вдоль состава второго пути, ныряя под каждый вагон.

А то все было — дождь-косохлест. В холодном настойчивом ветре он бил в крыши и стены товарных вагонов, в грудь паровозам; сек по красно-обожженным изогнутым железным ребрам двух десятков вагонных остовов (коробки сгорели где-то в бомбежке, но уцелели ходовые части, и их оттягивали в тыл); обливал четыре открыто стоявших на платформах дивизионных пушки; сливаясь с находящими сумерками, серо затягивал первый зеленый кружок семафора и кое-где вспышки багровых искр, вылетающих из теплушечных труб. Весь асфальт первой платформы был залит стеклянно-пузырящейся водой, не успевавшей стекать, и блестяли от воды рельсы даже в сумерках, и даже темно-бурая насыпка полотна вздрагивала невсачивающимися лужами.

И все это не издавало звуков, кроме глухого подрагивания земли да слабого рожка стрелочника, — гудки паровозов отменены были с первого дня войны.

И только дождь гудел в разоренной трубе.

За другим окном, в проходике у забора пакгауза, рос дубок. Его трепало, мочило, он додержал еще темных листьев, но сегодня слетали последние.

Стоять и глазеть было некогда. Надо было раскатывать маскировочные бумажные шторы на окнах, зажигать свет и садиться за работу. Еще много надо было успеть до смены в девять часов вечера.

Но Зотов не опускал шторок, а снял командирскую фуражку с зеленым околышем, которая на дежурстве даже в комнате всегда сидела у него на голове, снял очки и медленно потирал пальцами глаза, утомленные переписыванием шифрованных номеров транспортов с одной карандашной ведомости на другую. Нет, не усталость, а тоска подобралась к нему в темнеющем прежде времени дне — и заскребла.

Тоска была даже не о жене, оставшейся с еще не рожденным ребенком далеко в Белоруссии, под немцами. Не о потерянном прошлом, потому что у Зотова не было еще прошлого. Не о потерянном имуществе, потому что он его не имел и иметь не хотел бы никогда.

Угнетенность, потребность выть вслух была у Зотова от хода войны, до дикости непонятно. По сводкам Информбюро провести линию фронта было нельзя, можно было спорить, у кого Харьков, у кого Калуга. Но среди железнодорожников хорошо было известно, что за Узловую на Тулу поезда уже не шлют и через Елец дотягиваются разве что до Верховья. То там, то сям прорывались бомбардировщики и к рязань-воронежской линии, сбрасывали по несколько бомб, досталось и Кречетовке. А дней десять назад свалились откуда-то два шальных немецких мотоциклиста, влетели в Кречетовку и на ходу строчили из автоматов. Одного из них положили, другой унесся, но на станции от стрельбы все испереполошились, и начальник отряда спецназначения, ведающий взрывами в случае эвакуации, успел рвануть водокачку заложенным ранее толком. Теперь вызвали восстановительный поезд, и третий день он работал здесь.

Но не в Кречетовке было дело, а — почему же война так идет? Не только не было революции по всей Европе, не только мы не вторгались туда малой кровью и против любой комбинации агрессоров, но сошлось теперь — до каких же пор? Что б ни делал он днем и ложась вечером, только и думал Зотов: до каких же пор? И когда был не на службе, а спал на квартире, все равно просыпался по радиоперезвону в шесть утра, томясь надеждой, что сегодня-то загремит победная сводка. Но из черного раструба безнадежно выползали вяземское и волоколамское направления и клешнили сердце: а не сдадут ли еще и Москву? Не только вслух (вслух спросить было опасно), но самого себя Зотов боялся так спросить — все время об этом думал и старался не думать.

Однако темный этот вопрос еще был не последним. Сдать Москву еще была не вся беда, Москву сдавали и Наполеону. Жгло другое: а — потом что? А если — до Урала?..

Вася Зотов преступлением считал в себе даже пробегание этих дрожащих мыслей. Это была хула, это было оскорбление всемогущему, всезнающему Отцу и Учителю, который всегда на месте, все предвидит, примет все меры и не допустит.

Но приезжали из Москвы железнодорожники, кто побывал там в середине октября, и рассказывали какие-то чудовищно-немыслимые вещи о бегстве заводских директоров, о разгроме где-то каких-то кас или магазинов — и молчаливая мука опять сжимала сердце лейтенанта Зотова.

Недавно, по дороге сюда, Зотов прожил два дня в командирском резерве. Там был самодетельный вечер, и один худощавый бледно-

лицый лейтенант с распадающимися волосами прочел свои стихи, никем не проверенные, откровенные. Вася сразу даже не думал, что запомнил, а потом всплыли в нем оттуда строчки. И теперь, шел ли он по Кречетовке, ехал ли поездом в главную комендатуру узла или телегой в прикрепленный сельсовет, где ему поручено было вести военное обучение пацанов и инвалидов,— Зотов повторял и перебирал эти слова, как свои:

Наши села в огне и в дыму города...
И сверлит и сверлит в иступление
Мысль одна: да когда же? когда же?! когда
Остановим мы их наступление?!

И еще так, кажется, было:

Если Ленина дело падет в эти дни —
Для чего мне останется жить?

Тоже и Зотов совсем не хотел уцелеть с тех пор, как началась война. Его маленькая жизнь значила лишь — сколько он сможет помочь Революции. Но, как ни просился он на первую линию огня,— присох в линейной комендатуре.

Уцелеть для себя — не имело смысла. Уцелеть для жены, для будущего ребенка — и то было не непременно. Но, если бы немцы дошли до Байкала, а Зотов чудом бы еще был жив,— он знал, что ушел бы пешком через Кяхту в Китай, или в Индию, или за океан — но для того только ушел бы, чтобы там влиться в какие-то окрепшие части и вернуться с оружием в Россию и в Европу.

Так он стоял в сумерках под лив, хлест, толчки ветра за окнами и, сжавшись, повторял стихи того лейтенанта.

Чем гуще в комнате темнело, тем ясней калилась вишнево-нагретая дверца печи и падал желтый рассеянный снопик через остекленную шибку двери из соседней комнаты, где дежурный военный диспетчер по линии НКПС сидела уже при свете.

Она хотя и не подчинялась дежурному помощнику военного коменданта, но по работе никак не могла без него обойтись, потому что ей не положено было знать ни содержания, ни назначения грузов, а только номера вагонов. Эти номера носила ей списчица вагонов тетя Фрося, которая и вошла сейчас, тяжело обивая ноги.

— Ах, дождь заливе́нный! — жаловалась она.— Ах, заливе́нный! А все ж сбывает мал-малешко.

— Но семьсот шестьдесят пятый надо переписать, тетя Фрося,— сказала Валя Подшебякина.

— Ладно, перепишу, дай фонарь направить.

Дверь была не толста и прикрыта не плотно, Зотову был слышен их разговор.

— Хорошо, я угля управилась получить,— говорила тетя Фрося.— Теперь ничего не боюсь, на одной картошке ребятишков передержу. А у Дашки Мелентьевой — и недокопана. Поди-ка поройся в грязе́.

— Скажи, мороз хватит. Холодает как.

— Ранняя зима будет. Ох, в такую войну да зима ранняя... А вы сколько картошки накопили?

Зотов вздохнул и стал опускать маскировку на окнах, аккуратно прижимая шторку к раме, чтоб ни шелочкой не просвечивало.

Вот этого он понять не мог, и это вызывало в нем обиду и даже ощущение одиночества. Все эти рабочие люди вокруг него как будто так же мрачно слушали сводки и расходились от репродукторов с такой же молчаливой болью. Но Зотов видел разницу: окружающие жили как будто и

еще чем-то другим, кроме новостей с фронта, — вот они копали картошку, доили коров, пилили дрова, обмазывали стекла. И по времени они говорили об этом и занимались этим гораздо больше, чем делами на фронте.

Глупая баба! Привезла угля — и теперь «ничего не боится». Даже — танков Гудериана?

Ветер тряс деревцо у пакгауза и в том окне чуть позвенивал одним стеклышком.

Зотов опустил последнюю шторку, включил свет. И сразу стало в теплой, чисто выметенной, хотя и голой комнате уютно, как-то надежно, обо всем стало думаться бодрей.

Прямо под лампочкой, посередине комнаты, стоял стол дежурного, позади его у печки — сейф, к окну — старинный дубовый станционный диван на три места со спинкой (из спинки толстыми вырезанными буквами выступало название дороги). На диване этом можно было ночью прилечь, да редко приходилось за работой. Еще была пара грубых стульев. Между окон висел цветной портрет Кагановича в железнодорожном мундире. Висела раньше и карта путей сообщения, но капитан, комендант станции, велел снять ее, потому что в комнату сюда входят люди и если среди них затешется враг, то, скосясь, он может сориентироваться. Какая дорога куда.

— Я — чулки выменивала, — хвастала в соседней комнате тетя Фрося, — пару чулков шелковых брала у их за пяток картофельных лепешек. Чулков теперь, может, до конца войны не будет. Ты мамке скажи, чтоб она не зевала, из картошки б чего настряпала — и туда, к теплушкам. С руками вырывают. А Грунька Мострюкова надьсь какую-то чудную рубашку выменяла — бабью, ночную, мол, да с прорезями, слышь, в таких местах... ну, смехота! Собрались в ее избе бабы, глядели, как она мерила, — животы порвали!.. И мыло тоже можно брать у их, и дешево. А мыло теперь продукт дефективный, не купишь. Ты скажи мамке, чтоб не зевала!

— Не знаю, тетя Фрося..

— Чо, тебе чулки не нужны?

— Чулки очень нужны, да как-то совестно... у эвакуированных...

— У выковыренных-то и брать! Они отрезки везут, кустомы везут, мыло везут — прям как на ярмарку и снаряжались. Там такие мордастые еду-у-ть! — отварную курицу им, слышь, подавай, другого не хотят! У кого даже, люди видели, сотенные прямо пачками перевязаны, и пачек полон чемойдан. Банк, что ль, забрали? Только деньги нам не нужны, везите дальше.

— Ну, вот твои квартиранты...

— Э-этих ты не равняй. Эти голь да босота, они из Киева подхватились в чем были, как до нас доехали — удивляться надо. Полинка на почту устроилась, зарплата ей недохударная, а и чего — та зарплата? Я бабку повела, подпол ей открыла — вот, говорю, картошку бери, и капусту квашеную бери, и за комнату мне с вас тоже ничего не надо. Бедных я, Валюша, всегда жалею, богатый — пощады не проси!

На письменном столе Зотова стояло два телефона — один путейский, такая же старинная крутилка в желтой деревянной коробке, как у военного диспетчера, и второй свой, зуммерный, полевой, связанный с кабинетом капитана и с караульным помещением станционного продпункта. Бойцы с продпункта были единственной военной силой кречетовской комендатуры, хотя главная задача их была охранять продукты. Всё ж они тут топили, убирали, и сейчас ведро крупного бриллиантового угля в запас стояло перед печкой, топи — не хочу.

Зазвонил путейский телефон. Уже преодолев свою сумеречную миготную слабость, Зотов бодро подбежал, схватил трубку, другой рукой

натягивая фуражку, и стал ответно кричать в телефон. На дальнейшее расстояние он всегда кричал — иногда потому, что слышно было плохо, а больше по привычке.

Звонили из Богоявленской, просили подтвердить, какие попутные он получил, какие еще нет. Попутные — сопроводительные зашифрованные указания от предыдущей комендатуры о том, какие транспорты куда направляются, — передавались по телеграфу. Только час назад Зотов сам отнес несколько таких телеграфистке и получил от нее. В полученных надлежало быстренько разбираться, какие транспорты группировать с какими и на какую станцию, и давать указания железнодорожному военному диспетчеру, какие вагоны сцеплять с какими. И составлять и отправлять новые попутные, а себе оставлять копии от них и подкалывать.

И, положив трубку, Зотов тут же поспешно бухнулся в стул, близко-руко наклонился над столом и углубился в попутные.

Но немного мешали ему опять из той комнаты. Там вошел, стуча сапогами, мужчина и бросил на пол сумку с железом. Тетя Фрося спросила про дождь, тишает ли. Тот буркнул что-то и, должно быть, сел.

(Правда, из поврежденной трубы уже не хлестало так слышно, но крепчал и толкался в окна ветер.)

— Чего ты сказал, старик? — крикнула Валя Подшебякина.

— Студенеет, говорю, — отозвался старик густым еще голосом.

— Ты ведь слышишь, Гаврила Никитич? — прикрикнула и тетя Фрося.

— Слышу, — ответил старик. — Только в уху пошалкивает.

— А как же ты вагоны проверяешь, дед? Ведь их простукивать надо.

— Их и так видно.

— Ты, Валя, не знаешь, он наш кречетовский, это Кордубайло. По всем станциям вагонные мастера, сколько их есть, — его ученики. Уж он до войны десять лет на печи сидел. А вот вышел, видишь.

И опять, опять тетя Фрося что-то завела, Зотову досаждать стала болтовня, и он хотел уже пойти пугнуть ее, как в соседней комнате стали обговаривать вчерашний случай с эшелонам окруженцев.

О случае этом Зотов знал от своего подсмленного, такого ж, как сам он, дежурного помощника военного коменданта, которому вчера и досталось принимать меры, потому что на станции Кречетовка не было своей этапной комендатуры. Вчера утром на станции сошлись рядом два эшелона: со Щигр через Отрожку везли тридцать вагонов окруженцев, и на тридцать вагонов отчаянных этих людей было пять сопровождающих от НКВД, которые сделать с ними, конечно, ничего не могли. Другой же, встречный, эшелон из Ртищева был с мукой. Мука везлась частью в запломбированных вагонах, частью же в полувагонах, в мешках. Окруженцы сразу разобрались, в чем дело, атаковали полувагоны, взлезли наверх, вспарывали ножами мешки, насыпали себе в котелки и обращали гимнастерки в сумки и сыпали в них. От конвоя, шедшего при мучном эшелоне, стояло на путях два часовых — в голове и в хвосте. Головной часовой, совсем еще паренек, кричал несколько раз, чтобы не трогали, — его не слушал никто, и из конвойной телушки к нему подмога не подходила. Тогда он вскинул винтовку, выстрелил и единственным этим выстрелом уложил в голову одного окруженца — прямо там, наверху.

Зотов слушал-слушал их разговор — не так они говорили, не так понимали. Он не выдержал, пошел объяснить. Раскрыв дверь и став на пороге, он посмотрел на них на всех через простые круглые свои очки.

Справа за столом сидела тоненькая Валя над ведомостями и графиками в разноцветных клетках.

Вдоль окна, закрытого такой же синей маскировочной бумагой, шла простая скамья, на ней сидела тетя Фрося, немолодая, матерая, с властным, мужественным складом, какой бывает у русских женщин, привыкших самим управляться и на работе и дома. Брезентовый мокрый серо-зеленый плащ, даваемый ей в дежурство, корчился на стене, а она сидела в мокрых сапогах, в черном обтерханном гражданском пальтишке и ладила копилку, вынутую из ручного четырехугольного фонаря.

На входной двери наклеен был розовый листок, какие всюду развешивались по Кречетовке: «Берегись сыпного тифа!» Бумага плакатика была такая же болезненно-розовая, как сыпь тифозного или как те обоженные железные кости вагонов из-под бомбежки.

Недалеко от двери, чтобы не наследить, сидел чуть в сторону печи прямо на полу, оплонясь о стену, старик Кордубайло. Рядом с ним лежала кожаная старая сумка с тяжелым инструментом, брошенная так, чтоб только не на дороге, и рукавицы, измызганные в мазуте. Старик, видно, сел, как пришел — не отряхавшись и не раздеваясь, и сапоги его и плащ подтекали по полу лужицами. Между ногами, подтянутыми в коленях, стоял на полу незажженный фонарь, такой же, как у тети Фроси. Под плащом на старике был неопрятный черный бушлат, опоясанный бурым грязноватым кушаком. Башлык его был откинут: на голове, еще кудлатой, крепко насажен был старый-престарый железнодорожный картуз. Картуз затенял глаза, на свет лампочки выдавался только сизый носище да толстые губы, которыми Кордубайло сейчас слюнявил газетную козью ножку и дымил. Растрепанная борода его меж сединой сохраняла еще черноту.

— А что ж ему оставалось? — доказывала Валя, пристукивая карандашиком. — Ведь он на посту, ведь он часовой!

— Ну, правильно, — кивал старик, роняя крупный красный пепел махорки на пол и на крышку фонаря. — Правильно... Есть все хотят.

— К чему это ты? — нахмурилась девушка. — Кто это — все?

— Да хоть бы мы с тобой, — вздохнул Кордубайло.

— Вот бестолковый ты, дед! Да что ж они — голодные? Ведь им казенный паек дают. Что ж их, без пайка везут, думаешь?

— Ну, правильно, — согласился дед, и с сигарки опять посыпались раскаленные красные кусочки, теперь к нему на колено и полу бушлата.

— Смотри, сгоришь, Гаврила Никитич! — предупредила тетя Фрося.

Старик равнодушно глядел, не стряхивая, как гасли махорочные угольки на его мокрых темных вагных брюках, а когда они погасли, чуть приподнял кудлато-седую голову в картузе:

— Вы, девки, часом, сырой муки, в воде заболтавши, не ели?

— Зачем же — сырую? — поразилась тетя Фрося. — Заболтаю, замешу да испеку.

Старик чмокнул бледными толстыми губами и сказал не сразу — у него все слова так выступали не сразу, а будто долго еще на костылях шли оттуда, где рождались:

— Значит, голоду вы не видали, милые.

Лейтенант Зотов переступил порог и вмешался:

— Слушай, дед, а что такое п р и с я г а — ты воображаешь, нет?

Зотов заметно для всех окал.

Дед мутно посмотрел на лейтенанта. Сам дед был невелик, но велики и тяжелы были его сапоги, напитанные водой и кой-где вымазанные глиной.

— Чего другого, — пробурчал он. — Я и сам пять раз присягал.

— Ну, и кому ты присягал? Царю Миколашке?

Старик мотнул головой:

— Хватай раньше.

— Как? Еще Александру Третьему?

Старик сокрушенно чмокнул и курил свое.

— Ну! А теперь — народу присягают. Разница есть?

Старик еще просыпал пеплу на колено.

— А мука чья? Не народная? — горячилась Валя и все отбрасывала назад веселые спадающие волосы. — Муку — для кого везли? Для немцев, что ли?

— Ну, правильно, — ничуть не спорил старик. — Да и ребята тоже не немцы ехали, тоже наш народ.

Докуренную козью ножку он согнул до конца и погасил о крышку фонаря.

— Вот старик непонятливый! — задело Зотова. — Да что такое порядок государственный — ты представляешь? Это если каждый будет брать, что ему понравится, я возьму, ты возьмешь — разве мы войну выиграем?

— А зачем мешки ножами резали? — негодовала Валя. — Это по-каковски? Это наш народ?

— Должно быть, защиты были, — высказал Кордубайло и вытер нос рукой.

— Так — разорничать? чтоб мимо сыпалось? на путя? — возмущилась тетя Фрося. — Сколько прорвали да сколько просыпали, товарищ лейтенант! Это сколько детей можно накормить!

— Ну, правильно, — сказал старик. — А в такой вот дождь в полувагонах и остальная помокнет.

— А, да что с ним говорить! — раздосадовался Зотов на себя больше, что встрял в никчемный и без того ясный разговор. — Не шумите тут! Работать мешааете!

Тетя Фрося уже пообчистила фитиль, зажгла коптилку и укрепила ее в фонаре. Она поднялась за своим отвердевшим, скоробившимся плащом:

— Ну-к, подвостри мне, Валуша, карандашик. Пойду семьсот шестьдесят пятый списывать.

Зотов ушел к себе.

Вся эта вчерашняя история могла кончиться хуже. Окруженцы, когда убили их товарища, оставили мешки с мукой и бросились с ревом на мальчишку-часового. Они уже вырвали у него винтовку — да, кажется, он ее и отдал без сопротивления, — начали бить его и просто бы могли растерзать, если б наконец не подоспел разводящий. Он сделал вид, что арестовал часового, и увел.

Когда везут окруженцев, каждая комендатура поднравливает спихнуть их сразу дальше. Прошлой ночью еще один такой эшелон — 245413-й, из Павельца на Арчеду — Зотов принял и поскорее проводил. Эшелон простоял в Кречетовке минут двадцать, окруженцы спали и не выходили. Окруженцы, когда их много вместе, — страшный, лихой народ. Они не часть, у них нет оружия, но чувствуют они себя вчерашней армией, это те самые ребята, которые в июле стояли где-нибудь под Бобруйском, или в августе под Киевом, или в сентябре под Орлом.

Зотов робел перед ними — с тем же чувством, наверно, с каким мальчишка-часовой отдал винтовку, не стреляя больше. Он стыдился за свое положение тылового коменданта. Он завидовал им и готов был, кажется, принять на себя даже некоторую их безупречность, чтоб только знать, что за его спиной тоже — бои, обстрелы, переправы.

Сокурсники Васи Зотова, все друзья его — были на фронте.

А он — здесь...

Так тем настойчивей надо было работать! Работать, чтоб не только сдать смену в ажуре, но еще другие, другие дела успевать делать! Как можно больше и лучше успеть в эти дни, уже осененные двадцать четвертой годовщиной. Любимый праздник в году, радостный наперекор природе, а в этот раз — рвущий душу.

Кроме всей текучки, уже неделю тянулось за Зотовым дело, имевшее начало в его смену: был налет на станцию, и немцы порядочно разбомбили эшелон с воинскими грузами, в котором были и продукты. Если б они разбомбили его начисто — на этом бы дело и закрылось. Но, к счастью, уцелело многое. И вот теперь требовали от Зотова составить в четырех экземплярах полные акты-перечни: грузов, приведенных в полную негодность (их должны были списать с соответствующих адресатов и отнарядить новые); грузов, приведенных в негодность от сорока до восьмидесяти процентов (об использовании их должно было решиться особо); грузов, приведенных в негодность от десяти до сорока процентов (их должны были направлять дальше по назначению с оговорками или частичной заменой); наконец грузов, оставшихся в целости. Усложнялось дело тем, что, хотя грузы разбомбленного поезда все теперь были собраны в пакгаузах, но это произошло не тотчас, по станции бродили непричастные люди, и можно было подозреть хищения. Кроме того, установка процента годности требовала экспертизы (эксперты приезжали из Мичуринска и из Воронежа) и бесконечной переставки ящиков в пакгаузах, а грузчиков не хватало.

Разбомбить и дурак может, а поди разберись!

Впрочем, Зотов и сам любил dokonечную точность в каждом деле, поэтому он много уже провернул из этих актов, мог позаняться ими сегодня, а за неделю думал и все подогнать.

Но даже и эта работа была — текучка. А выглядел Зотов себе еще работу такую. Вот сейчас он, человек с высшим образованием, а в характере с задатками систематизации, работает на комендантской работе — и получает полезный опыт. Ему особенно хорошо видны сейчас: и недостатки наших мобилизационных предписаний, с которыми нас застала война; и недостатки в организации слежения за воинскими грузами; видны и многие значительные и мелкие улучшения, которые можно было бы внести в работу военных комендатур. Так не прямой ли долг его совести такие все наблюдения делать, записывать, обрабатывать — и подать в виде докладной записки в Наркомат обороны? Пусть его труд не успеет быть использован в эту войну, но как много он будет значить для следующей!

Так вот для какого еще дела надо найти время и силы! (Хотя выскажи такую идею капитану или в комендатуре узла — будут смеяться. Недалекие люди.)

Скорей же разбираться с попутными! Зотов потер одну о другую круглые ладонца с короткими толстенькими пальцами, взял химический карандаш и, сверяясь с шифровкой, разносил на несколько листов ясным овальным почерком многозначные, иногда и дробные номера транспортов, грузов и вагонов. Эта работа не допускала описки — так же, как прицел орудия. Он в усердии мелко наморщил лоб и оттопырил нижнюю губу.

Но тут в стекольце двери стукнула Подшебякина:

— Можно, Василь Васильич? — И, не очень дожидаясь ответа, вошла, неся тоже ведомость в руках.

Вообще-то не полагалось ей сюда заходить, решить вопрос можно было на пороге или в той комнате, — но с Валею у него уже не раз совпадали дежурные сутки, и просто деликатность мешала ему не пустить ее сюда.

Поэтому он только залистнул шифровку и как бы случайно чистой бумагой прикрыл колонки чисел, которые писал.

— Василь Васильич, я что-то запуталась! Вот, смотрите...— Второго стула не было вблизи, и Валя прилегла к ребру стола и повернула к Зотову ведомость с кривоватыми строчками и неровными цифрами.— Вот, в эшелоне четыреста сорок шесть был такой вагон — пятьдесят семь восемьсот тридцать один. Так — куда его?

— Сейчас скажу.— Он выдвинул ящик, сообразил, какой из трех скоросшивателей взять, открыл (но не так, чтоб она могла туда засматривать) и нашел сразу: — Пятьдесят семь восемьсот тридцать первый — на Пачелму.

— Угу,— сказала Валя, записала «Пач», но не ушла, а обсасывала тыльце карандаша и продолжала смотреть в свою ведомость, все так же приклоненная к его столу.

— Вот ты «че» неразборчиво написала,— укорил ее Зотов,— а потом прочтешь как «вэ» — и на Павелец загонишь.

— Неужели! — спокойно отозвалась Валя.— Будет вам, Василь Васильич, ко мне придирайтесь-то!

Посмотрела на него из-под локона.

Но подправила «ч».

— Потом во-от что...— протянула она и опять взяла карандаш в рот. Обильные локоны ее, почти льняные, спустились со лба, завесили глаза, но она их не поправляла. Такие они были вымытые и, наверно, мягонькие,— Зотов представил, как приятно потрепать их рукой.— Вот что... Платформа один — ноль пять — сто десять.

— Малая платформа?

— Нет, большая.

— Вряд ли.

— Почему?

— Одной цифры не хватает.

— И что ж теперь делать? — Она откинула волосы. Ресницы были у нее такие ж беленькие.

— Искать, что! Надо внимательней, Валя. Эшелон — тот же?

— У-гм.

Заглядывая в скоросшиватель, Зотов стал примеряться к номерам.

А Валя смотрела на лейтенанта, на его смешные отставленные уши, нос картошкой и глаза бледно-голубые с серинкой, хорошо видные через очки. По работе он был вьедливый, этот Василь Васильич, но не злой. А чем особенно ей нравился — был он мужчина не развязный, вежливый.

— Эх! — рассердился Зотов.— Сечь тебя розгами! Не ноль пять, а два ноля пять, голова!

— Два-а ноля! — удивилась Валя и вписала ноль.

— Ты ж десятилетку кончила, как тебе не стыдно?

— Да бросьте, Василь Васильич, при чем тут десятилетка? И — куда ее?

— На Кирсанов.

— У-гу,— записала Валя.

Но не уходила. В том же положении, наклоненная к столу, близ него, она задумалась и пальцем одним играла с отщепинкой в доске столешницы: отклоняла отщепинку, а та опять прижималась к доске.

Мужские глаза невольно прошлись по небольшим девичьим грудям ее, сейчас в наклоне видимым ясно, а то всегда скраденным тяжеловатой железнодорожной курткой.

— Скоро дежурство кончится,— надула Валя губы. Они были у нее свеженькие, бледно-розовые.

— Еще до «кончится» поработать надо! — нахмурился Зотов и перестал разглядывать девушку.

— Вы — опять к своей ба-а-бке пойдете... Да?

— А куда ж еще?

— Ни к кому в гости не ходите...

— Нашла время для гостей!

— И чего вам сладкого у той бабки? Даже кровати нет путевой. На ларе спите.

— А ты откуда знаешь?

— Люди знают, говорят.

— Не время сейчас, Валечка, на мягком нежиться. А мне — тем более. И так стыдно, что не на фронте.

— Так что ж вы? дела не делаете? Чего тут стыдного! Еще и в окопах, небось, навалаетесь. Еще живы ли будете... А пока можно, надо жить, как люди.

Зотов снял фуражку, растер стянутый лоб (фуражка была маловата ему, но на складе ведомости вырисовывала карандашом длинную острую петельку, как коготок.

Валя на уголке ведомости вырисовывала карандашом длинную острую петельку, как коготок.

— А чего вы от Авдеевых ушли? Ведь там лучше было.

Зотов опустил глаза и сильно покраснел.

— Ушел — и все.

(Неужели от Авдеевых разнеслось по поселку?..)

Валя острила и острила коготок.

Помолчали.

Валя покосилась на его круглую голову. Снять еще очки — и ребячья какая-то будет голова, негустые светлые волосы завиточками там и сям поднялись, как вопросительные знаки.

— И в кино никогда не пойдете. Наверно, книги у вас интересные. Хоть бы дали почитать.

Зотов вскинулся. Краска его не сходила.

— Откуда знаешь, что книги?

— Думаю так.

— Нет у меня книг. Дома остались.

— Жалеете просто.

— Да нету, говорю. Куда ж таскать? У солдата — вещмешок, больше не положено.

— Ну, тогда у нас возьмите почитать.

— А у вас много?

— Да стоят на полочке.

— Какие же?

— Да какие... «Доменная печь»... «Князь Серебряный»... И еще есть.

— Ты все прочла?

— Некоторые. — И вдруг подняла голову, ясно поглядела и дыханием высказала: — Василь Васильич! А вы — переходите к нам! У нас комната Вовкина свободная — ваша будет. Печка туда греет, тепло. Мама вам готовить будет. Что за охота вам — у бабки?

И они посмотрели друг на друга, каждый со своей загадкой.

Валя видела, что лейтенант заколебался, что он сейчас согласится. И почему б ему не согласиться, чудаку такому? Все военные всегда говорят, что не женаты, а он один — женат. Все военные, расквартированные в поселке, — в хороших семьях, в тепле и в заботе. Хотелось и Вале, чтобы в доме, откуда отец и брат ушли на войну, жил бы мужчина. Тогда и со смены, поздно вечером, по затемненным, замешанным грязью

улицам поселка они будут возвращаться вместе (уж придется под руку), потом весело садиться вместе за обед, шутить, друг другу что-нибудь рассказывать...

А Вася Зотов едва ли не с испугом посмотрел на девушку, открыто зовущую его к себе в дом. Она была лишь годика на три моложе его и если называла по имени-отчеству и на «вы», то не из-за возраста, а из уважения к лейтенантским кубикам. Он понимал, что вкусными обедами из его сухого пайка и теплом от печки дело не кончится. Он заволновался. Ему-таки хотелось сейчас взять и потрепать ее доступные белые кудряшки.

Но — никак было нельзя.

Он поправил воротник с красными кубиками в зеленых петлицах, хоть воротник ему не жал, очки поправил.

— Нет, Валя, никуда не пойду. Вообще работа стоит, что мы разболтались?

И надел зеленую фуражку, отчего беззащитное курносое лицо его построжело очень.

Девушка посмотрела еще исподлобья, протянула:

— Да ла-адно вам, Василь Васильич!

Вздыхнула. Не молодо, как-то с трудом поднялась из своего наклонного положения и, влача ведомость в опущенной руке, ушла.

А он растерянно моргнул. Может, вернись бы она еще раз и скажи ему твердо — он уступил бы.

Но она не возвращалась.

Никому тут Вася не мог объяснить, почему он жил в плохо отапливаемой нечистой избе старухи с тремя внуками и спал на коротком неудобном ларе. В огромной жестоковатой мужской толчее сорок первого года его уже раз-другой поднимали на пересмеях, когда он вслух рассказывал, что любит жену и думает быть ей всю войну верен и за нее тоже вполне ручается. Хорошие ребята, подельчивые друзья хохотали дружно, как-то дико, били его по плечу и советовали не теряться. С тех пор он вслух не говорил такого больше, а тосковал только очень, особенно проснувшись глухими ночами и думая, каково ей там, далеко-далеко под немцами и ожидая ребенка.

Но не из-за жены даже он отказал сейчас Вале, а из-за Полины...

И не из-за Полины даже, а из-за...

Полина, чернявенькая стриженная киевляночка с матовым лицом, была та самая, которая жила у тети Фроси, а работала на почте. На почту, если выдавалось время, Вася ходил читать свежие газеты (пачками за несколько дней, они опаздывали). Так получалось пораньше, и все газеты можно было видеть сразу, не одну-две только. Конечно, почта — не читальня, и никто не обязан был давать ему читать, но Полина понимала его и все газеты выносила ему к концу прилавка, где он стоя, в холоде их читал. Как и для Зотова, для Полины война не была бесчувственным качением неотвратимого колеса, но — всей ее собственной жизнью и будущим всем, и чтоб это будущее угадать, она так же беспокойными руками разворачивала эти газеты и так же искала крупинки, могущие объяснить ей ход войны. Они часто читали рядом, наперехват показывая друг другу важные места. Газеты заменяли им письма, которых они не получали. Полина внимательно вчитывалась во все боевые эпизоды сводок, угадывая, не там ли ее муж, и по совету Зотова прочитывала, морща матовый лоб, даже статьи о стрелковой и танковой тактике в «Красной звезде». А уж статьи Эренбурга Вася читал ей вслух сам, волнуясь. И некоторые он выпрашивал у Полины, из чьих-то недосланных газет вырезал и хранил.

Полину, ребенка ее и мать он полюбил так, как вне беды люди

любить не умеют. Сынишке он приносил сахару из своего пайка. Но никогда, перелистывая вместе газеты, он не смел пальцем коснуться ее белой руки — и не из-за мужа ее, и не из-за своей жены, а из-за того святого горя, которое соединило их.

Полина стала ему в Кречетовке — нет, по всю эту сторону фронта самым близким человеком, она была глазом совести и глазом верности его — и как же мог он стать на квартиру к Вале? что подумала бы Полина о нем?

Но и без Полины, без Полины — не мог он сейчас беспечно утешаться с какой-нибудь женщиной, когда грозило рухнуть все, что он любил.

И тоже как-то неловко было признаться Вале и лейтенантам, его сменщикам, что было-таки у него вечернее чтение, была-таки книга — единственная захваченная в какой-то библиотеке в суматошных путях этого года и возимая с собой в вещмешке.

Книга эта была — синенький толстенький первый том «Капитала» на шершавой рыжеватой бумаге тридцатых годов.

Все студенческие пять лет мечтал он прочесть заветную эту книгу, и не раз брал ее в институтской библиотеке, и пытался конспектировать, и держал по семестру, по году — но никогда не оставалось времени, заедали собрания, общественные нагрузки, экзамены. И, не кончив одной страницы конспекта, он сдавал книгу, когда шел с июньской обходной. И даже когда проходили политэкономия, самое время было читать «Капитал» — преподаватель отговаривал: «Утонете!», советовал нажимать на учебник Лapidуса, на конспекты лекций. И действительно, только успевали.

Но вот теперь, осенью сорок первого, в зареве огромной тревоги, Вася Зотов мог здесь, в дыре, найти время для «Капитала». Так он и делал — в часы, свободные от службы, от всеобуча и от заданий райкома партии. На квартире у Авдеевых, в зале, уставленном филодендронами и алоэ, он садился за шаткий маленький столик и при керосиновой лампе (не на все дома поселка хватало мощности дизельного движка), поглаживая грубую бумагу рукой, читал: первый раз — для охвата, второй раз — для разметки, третий раз — конспектируя и стараясь все окончательно уложить в голове. И чем мрачней были сводки с фронта, тем упрямей нырял он в толстую синюю книгу. Вася так понимал, что когда он освоит весь этот хотя бы первый том и будет стройным целым держать его в памяти — он станет непобедимым, неуязвимым, неотразимым в любой идейной схватке.

Но не много было таких вечеров и часов, и страниц было записано им несколько — как помешала Антонина Ивановна.

Это была тоже квартирантка Авдеевых, приезжая из Лисок, ставшая здесь, в Кречетовке, сразу заведующей столовой. Она была деловая и так на ногах держалась крепко, что в столовой у нее не очень было поскандалить. В столовой у нее, как Зотов узнал потом, совали за рубль в оконце глиняную миску с горячей серой безжирной водой, в которой плавало несколько макаронин, а с тех, кто не хотел просто губами вытягивать это все из миски, еще брали рубль залога за деревянную битую ложку. Сама же Антонина Ивановна, вечерами велев Авдеевым поставить самовар, выносила к хозяйскому столу хлеб и сливочное масло. Лет ей оказалось всего двадцать пять, но выглядела она женщиной основательной, была беложава, гладка. С лейтенантом она всегда приветливо здоровалась, он отвечал ей рассеянно и долго путал ее с прихожей родственницей хозяйки. Горбясь над своим томом, он не замечал и не слышал, как она, придя с работы тоже поздно, все ходила через его проходной залец в свою спальню и оттуда назад к хозяевам и опять к себе. Вдруг

она подходила и спрашивала: «Что это вы все читаете, товарищ лейтенант?» Он прикрывал том тетрадью и отвечал уклончиво. В другой раз она спрашивала: «А как вы думаете, не страшно, что я на ночь дверь свою не закладываю?» Зотов отвечал ей: «Чего бояться! Я же — тут, и с оружием». А еще через несколько дней, сидя над книгой, он почувствовал, что, перестав снова туда-сюда, она как будто не ушла из зала. Он оглянулся — и остолбенел: прямо здесь, в его комнате, она постелилась на диване и уже лежала, распустив волосы по подушке, а одеялом не покрыв белых нагих плеч. Он уставился в нее и не находил, что теперь делать. «Я вам тут не помешаю?» — спросила она с насмешкой. Вася встал, теряя соображение. Он даже шагнул уже крупно к ней — но вид этой откормленной воровской сытости не потянул его дальше, а оттолкнул.

Он даже сказать ей ничего не мог, ему горло перехватило ненавистью. Он повернулся, захлопнул «Капитал», нашел еще силы и время спрятать его в вещмешок, бросился к гвоздю, где висели шинель и фуражка, на ходу снимая ремень, отягощенный пистолетом, — и так, держа его в руке, не опоясавшись, кинулся к выходу.

Он вышел в непроглядную темень, куда из замаскированных окон, ни с тучевого неба не пробивалось ни соломинки света, но где холодный осенний ветер с дождем, как сегодня, рвал и сек. Оступаясь в лужи, в ямы, в грязь, Вася пошел в сторону станции, не сразу сообразя, что так и несет в руках ремень с пистолетом. Такая жгла его бессильная обида, что он чуть не заплакал, бредя в этой черной стремнине.

С тех-то пор и не стало ему жизни у Авдеевых: Антонина Ивановна, правда, больше с ним не здоровалась, но стала водить к себе какого-то мордатого кобеля, гражданского, однако в сапогах и кителе, как требовал дух времени. Зотов пытался заниматься — она же нарочно не прикрывала своей двери, чтоб долго слышал он, как они шутили и как она повизгивала и постанывала.

Тогда он и ушел к бабке полуглухой, у которой нашел только ларь, застланный рядом.

Но вот, видно, разнеслась сплетня по Кречетовке. Неужели до Полины дойдет? Стыдно...

Отвлекли его эти мысли от работы. Он схватился опять за химический карандаш и заставил себя вникнуть в попутные и опять четким овальным почерком разносил номера транспортов и грузов, составляя тем самым новые попутные, под копирку. И кончил бы эту работу, но неясность вышла с большим транспортом из Камышина — как его разбивать. Дело это мог решить только сам комендант. Зотов дал один зуммер по полевому телефону, взял трубку и слушал. И еще дал один зуммер подольше. И еще долгий один. Капитан не отвечал. Значит, в кабинете его не было. Может быть, отдыхает дома после обеда. Перед смелой-то дежурных он придет обязательно — выслушать рапорта.

За дверью иногда Подшебякина звонила диспетчеру станции. Тетя Фрося пришла, опять ушла. Потом послышался тяжелый переступ в чetyре сапога. В дверь постучали, приоткрыли, звонко спросили:

— Разрешите войти?

И не дожидаясь и не дослышавая разрешения, вошли. Первый — грандерского роста, гибкий, с розовым охолодавшим лицом, ступил на середину комнаты и с пристуком пятки доложил:

— Начальник конвой транспорта девяносто пять пятьсот пять сержант Гайдуков! Тридцать восемь пульмановских вагонов, все в порядке, к дальнейшему следованию готов!

Он был в новой зимней шапке, ладной долгой шинели командирского покроя с разрезом, запоясан кожаным широким ремнем с пряжкой-звездой, и начищенные яловые были на нем сапожки.

Из-за спины его выступил слегка, как бы перетоптался, не отходя далеко от двери, второй — коренастый, с лицом одубело-смуглым, темным. Он полунехотя поднял пятерню к шлему-буденовке с опущенными, но не застегнутыми ушами и не отрапортовал, а сказал тихо:

— Начальник конвоя транспорта семьдесят один шестьсот двадцать восемь младший сержант Дыгин. Четыре шестнадцатитонных вагона.

Солдатская шинель его, охваченная узким брезентовым пояском, имела одну полу перекошенную или непоправимо изжеванную как бы машиной, сапоги были кирзовые, с истертыми переломами гармошки.

А лицо у сержанта Дыгина было набровое-челюстное лицо Чкалова, но не молодого лихого Чкалова, погибшего недавно, а уже пожившего, обтертого.

— Так! Очень рад! Очень рад!— сказал Зотов и встал.

Ни по званию своему, ни по роду работы совсем он не должен был вставать навстречу каждому входящему сержанту. Но он действительно рад был каждому и спешил с каждым сделать дело получше. Своих подчиненных не было у помощника коменданта, и эти, приезжающие на пять минут или на двое суток, были единственные, на ком Зотов мог проявить командирскую заботу и распорядительность.

— Знаю, знаю, попутные ваши уже пришли.— Он нашел на столе и просматривал их.— Вот они, вот они... девяносто пять пятьсот пять... семьдесят один шестьсот двадцать восемь...— И поднял доброжелательные глаза на сержантов.

Их шинели и шапки были только слегка примочены, вразнокап.

— А что это вы сухие? Дождь — кончился?

— Перемерзился,— с улыбкой тряхнул головой статный Гайдуков, стоящий и не по «смирно» будто бы, но вытянуто.— Северяк задувает крепенько!

Было ему лет девятнадцать, но с тем ранним налетом мужества, который на доверчивое лицо ложится от фронта, как загар от солнца.

(Вот этот налет фронта на лицах и поднимал Зотова от стола.)

А дел к ним у помощника коменданта было мало. Во всяком случае не полагалось разговаривать о составе грузов, потому что они могли везти вагоны запломбированными, ящики забитыми и сами не зная, что везут.

Но им — многое надо было от коменданта попутной станции.

И они врзались в него — одним веселым взглядом и одним угрюмым.

Гайдукову надо было понять, не прицепчивая ли тыловая крыса этот комендант, не потянется ли сейчас смотреть его эшелон и груз.

За груз он, впрочем, не опасался нисколько, свой груз он не просто охранял, но любил: это было несколько сот отличных лошадей и отправленных смышленным интендантом, загрузившим в тот же эшелон прессованного сена и овса в достатке, не надеясь на пополнение в пути. Гайдуков вырос в деревне, смала пристрастен был к лошадям и ходил к ним теперь как к друзьям, в охотку, а не по службе помогая дежурным бойцам поить, кормить их и доглядывать. Когда он отодвигал дверь и по проволочной висячей стремянке подымался в вагон с «летучей мышью» в руке, все шестнадцать лошадей вагона — гневные, рыжие, караковые, серые — поворачивали к нему свои настороженные длинные умные морды, иные перекладывали их через спины соседок и смотрели немигающими большими грустными глазами, еще чутко перебирая ушами, как

бы не сена одного прося, но — рассказать им об этом грохочущем подсакивающим ящике и зачем их, куда везут. И Гайдуков обходил их, протискиваясь между теплыми крупами, трепал гривы, а когда не было с ним бойцов, то гладил храпы и разговаривал. Им на фронт было ехать тяжелей, чем людям; им этот фронт был нужен, как пятая нога.

Чего Гайдуков опасался сейчас перед комендантом (но тот, видно, парень сходный и стеречься нечего) — чтоб не пошел он заглянуть в его теплушку. Хотя солдаты в конвое Гайдукова ехали больше новички, но сам он уже побывал на переднем крае и в июле был ранен на Днепре, два месяца пролежал в госпитале и поработал там при каптерке, и вот ехал снова на фронт. Поэтому он знал и уставы и как их можно и надо нарушать. Их двадцать человек молодых ребят лишь попутно везли лошадей, а, сдав их, должны были влиться в дивизию. Может быть, через несколько дней все это новое обмундирование они измажут в размокшей траншейной глине, да еще хорошо, если в траншеях, а то за бугорочками малыми будут прятать головы отседающих на плечи немецких мин — минометы немецкие больше всего досадили Гайдукову летом. Так сейчас эти последние дни хотелось прожить тепло, дружно, весело. В их просторной теплушке две чугунные печи калились, не переставая, углем-кулаком, добытым с других составов. Эшелон их пропускали быстро, нигде они не застаивались, но как-то успевали раз в сутки напоить лошадей и раз в три дня отоварить продаттестаты. А если эшелон шел быстро, в него просились. И хотя устав строго запрещал пускать гражданских в караульные помещения, сам Гайдуков и помощник его, перенявший от него разбитную манеру держаться, не могли смотреть на людей, стынувших на осеннем полотне и ошалело бегающих вдоль составов. Не то чтобы пускали просящих всех, но не отказывали многим. Какого-то инспектора хитрого пустили за литр самогону, еще рыжего старика с сидорами — за шматок сала, кого — ни за так, а особенно отзывно — не устаивало их сердце — подхватывали они в свой вагон, спуская руки навстречу, молодок и девок, тоже все едущих и едущих куда-то, зачем-то. Сейчас там, в жаре гомонящей теплушки, рыжий старик что-то лопочет про первую мировую войну, как он без малого не получил георгиевского креста, а из девок одна только недотрога, находясь совушкой, сидит тут же у печки. Остальные давно от жары скинули пальто, телогрейки, даже и кофточки. Одна, оставшись в красной союлке и сама раскраснелая, стирает сорочки ребятам и пособника своего, выжимающего белье, хлопает мокрым скрутком, когда он слишком к ней подлезает. Две стряпают для ребят, заправляя домашним смальцем солдатский сухой паек. А еще одна сидит и вычинивает, у кого что порвалось. Уедут с этой станции — поужинают, посидят у огня, спуют под разухабистую болтанку вагона на полном ходу, а потом, не особо разбирая смены бодрствующей и отдыхающей (все намаиваются равно в водопой), — распользутся по нарам из неструганых досок, покотом спать. И из этих сегоднешних молодок, как и из вчерашних, лишь недавно проводивших мужей на войну, и из девок — не все устоят и там, в затеньях от фонаря, лягут с хлопцами, обнявшись.

Да и как не пожалеть солдату, едущего на передовую! Может, это последние в его жизни денечки...

И чего сейчас только хотел Гайдуков от коменданта — чтобы тот отпустил его побыстрее. Да еще бы вывести как-нибудь маршрутик: для пассажира — где их ссаживать, и для себя — на каком теперь участке воевать? мимо дому не придется ли кому проехать?

— Та-ак, — говорил лейтенант, поглядывая в попутные. — Вы не вместе ехали? Вас недавно сцепили?

— Да вот станций несколько.

Очками уперевшись в бумагу, лейтенант вытаращил губы.

— И почему вас сюда завезли? — спросил он старого Чкалова. — Вы в Пензе — были?

— Были, — отозвался хрипло Дыгин.

— Так какого ж черта вас крутанули через Рязжк? Это удивляться надо, вот головотяпы!

— Теперь вместе поедем? — спросил Гайдуков.

(Идя сюда, он узнал от Дыгина его направление и так хотел смекнуть свое.)

— До Грязей вместе.

— А потом?

— Военная гайна, — приятно окая, покрутил головой Зотов и сквозь очки снизу вверх прищурился на рослого сержанта.

— А все ж таки? Через Касторную, нет?.. — подговаривался Гайдуков, наклоняясь к лейтенанту.

— Там видно будет, — хотел строго ответить Зотов, но губы его чуть улыгнулись, и Гайдуков отсюда понял, что через Касторную.

— Прямо вечерком и уедем?

— Да. Вас держать нельзя.

— Я — ехать не могу, — проскрипел Дыгин веско, недружелюбно.

— Вы — лично? Больны?

— Весь конвой не смога'т.

— То есть... как? Я не понимаю вас. Почему вы не можете?

— Потому что мы — не собаки!! — прорвалось у Дыгина, и шары его глаз прокатились яростно под веками.

— Что за разговоры? — нахмурился Зотов и выпрямился. — А ну-ка поосторожней, младший сержант!

Тут он доглядел, что и зелененький-то треугольник младшего сержанта был ввинчен только в одну защитную петлицу шинели Дыгина, а вторая пуста была, осталась треугольная вмятина и дырочка посередине. Распушенные уши его буденновского шлема, как лопухи, свисали на грудь.

Дыгин зло смотрел исподлобья:

— Потому что мы... — простуженным голосом хрипел он, — одиннадцатый день... голодные...

— Как?? — откинулся лейтенант, и очки его сорвались с одного уха, он подхватил дужку, надел. — Как это может быть?

— Так. Быва'т... Очень просто.

— Да у вас продаттестаты-то есть?

— Бумагу жевать не будешь.

— Да как вы живы тогда?!

— Так и живы.

Как вы живы! Пустой ребячий этот вопрос очкарика вконец рассердил Дыгина, и подумал он, что не будет ему помощи и на станции Кречетовка. Как вы живы! Не сам он, а голод и ожесточение стянули ему челюсти, и он по-волжски тяжело смотрел на беленького помощника военного коменданта в теплой чистой комнате. Семь дней назад раздобылись они свеклой на одной станции, набрали два мешка прямо из сваленной кучи — и всю неделю свеклу эту одну парили в котелках, парили и ели. И уже воротить их стало с этой свеклы, кишки ее не принимали. Позапрошлой ночью, когда стояли они в Александро-Невском, поглядел Дыгин на своих заморенных солдатиков-запасников — все они были старше его, а и он не молод, — решился, встал. Ветер выль под вагонами и свиристел в щели. Чем-то надо было нутро угомонить хоть немножко. И — ушел во мрак. Он вернулся часа через полтора и три буханки кинул

на нары. Солдат, сидевший около, обомлел: «Тут и белая одна!» — «Ну? — равнодушно досмотрелся и Дыгин. — А я не заметил». Обо всем этом не рассказывать же было сейчас коменданту. Как вы живы!.. Десять дней ехало их четверо по своей родной стране, как по пустыне. Груз их был — двадцать тысяч саперных лопаток в заводской смазке. И везли они их — Дыгин знал это с самого места — из Горького в Тбилиси. Но все грузы были, видно, срочней, чем этот заклятый холодный в застывшей смазке груз. Начиналась третья неделя, а они еще и половины пути не проехали. Самый последний диспетчериска, кому не лень, отцеплял их четыре вагона и покидал на любом полустанке. По продаттестатам получили они на три дня в Горьком, а потом на три дня в Саранске — и с тех пор нигде не могли прихватить продпункт открытым. Однако и это бы все было горе перетерпное, они б и еще пять дней переболодовали, если б знали, что потом за все пятнадцать получают. Но выло брюхо и стонала душа оттого, что закон всех продпунктов: за прошлые дни не выдается. Что прошло, то в воду ушло.

— Но почему ж вам не отоваривают? — добивался лейтенант.

— А вы — отоварите? — раздвинул челюсти Дыгин.

Он еще из вагона выпрыгивал — узнал у встречного бойца, что продпункт на этой станции есть. Но — стемнело уже, и, по закону, нечего было топтать к тому окошку.

Сержант Гайдуков забыл свою веселую стойку перед комендантом и повернут был к Дыгину. Теперь он длинной рукой трепнул того по плечу:

— Брато-ок! Да что ж ты мне не сказал? Да мы тебе сейчас подкинем!

Дыгин не колыхнулся под хлопком и не повернулся, все так же мертво глядя на коменданта. Он сам себе тошен был, что такой недотепистый со своими стариками — за все одиннадцать дней не попросили они есть ни у гражданских, ни у военных: они знали, что лишнего куска в такое время не бывает. И подъехать никто не просился в их теплушку заброшенную, отцеplяемую. И табак у них кончился. А из-за того, что вся теплушка была в щелях, они зашили тесом три окошка из четырех, и в вагоне у них было темно и днем. И, уже махнув на все, они и топили-то поконец рук — и так на долгих остановках, по суткам и по двое, вокруг темноватой печки сидели, уваривали свеклу в котелках, пробовали ножом и молчали.

Гайдуков выровнялся молодеватым броском:

— Разрешите идти, товарищ лейтенант?

— Идите.

И убежал. Теплой рукой сейчас они отсыпят солдыгам и пшена и табачку. У той старухи слезливой ничего за проезд не брали — ну-ка, пусть для ребят выделит, не жметя. И инспектору надо еще по чемодану постучать, услышать обязан.

— Та-ак, седьмой час, — соображал лейтенант. — Продпункт наш закрыт.

— Они всегда закрыты быва'т... Они с десяти до пяти только... В Пензе я в очередь стал, шумят — эшелон отходит. Моршанск ночью проехали. И Ряжск ночью.

— Подожди-подожди! — засуетился лейтенант. — Я этого дела так не оставлю! А ну-ка!

И он взял трубку полевого телефона, дал один долгий зуммер.

Не подходили.

Тогда он дал тройной зуммер.

Не подходили.

— А, черт! — Еще дал тройной. — Гуськов, ты?

— Я, товарищ лейтенант.

— Почему у тебя боец у телефона не сидит?

— Отошел тут. Молока кислого я достал. Хотите — вам принесу, товарищ лейтенант?

— Глупости, ничего не надо!

(Он не из-за Дыгина так сказал. Он и все время запрещал Гуськову что-нибудь себе носить — принципиально. И чтобы сохранялась чистота деловых отношений, иначе с него потом службы не потребуешь. Напротив, Зотов и капитану докладывал, что Гуськов разбалтывается.)

— Гуськов! Вот какое дело. Приехал тут конвой, четыре человека, они одиннадцатый день ничего не получают.

Гуськов свистнул в телефон.

— Что ж они, раззявы!

— Так вышло. Надо помочь. Надо, слушай, сейчас как-нибудь вызвать Чичишева и Саморукова, и чтоб они выдали им по аттестату.

— Где их найдешь, легкое дело!

— Где! На квартирах.

— Грязюка такая, ног по колено не выдерешь, да темно, как у

— Чичишев близко живет.

— А Саморуков? За путями. Да не пойдет он ни за что, товарищ лейтенант!

— Чичишев пойдет.

Бухгалтер Чичишев был военнослужащий, призван из запаса, и пришлепали ему четыре треугольника, но никто не видел в нем военного, а обычного бухгалтера, немолодого, натрелого в деле. Он и разговаривать без счетов не мог. Спрашивал: «Сколько времени? Пять часов?» — и пять сейчас же для понимания крепко щелкал на косточках. Или рассуждал: «Если человек один (и косточку — щелк!), ему жить трудно. Он (и вторую к первой — щелк!) — женится». Когда от очереди, гудящей, сующей ему продаттестаты, он был отделен закрытым окном и решеткой и только малая форточка оставлена для сующихся рук — Чичишев бывал очень тверд, кричал на бойцов, руки отталкивал и форточку прикрывал, чтоб не дуло. Но если ему приходилось выйти прямо к толпе или команда прорывалась к нему в каморку — он сразу втягивал шар головы в маленькие плечи, говорил «братцы» и ставил штампы. Так же суетлив и услужлив он перед начальством, не посмеет отказать никому, у кого в петлицах кубики. Продпункт не подчиняется дежурному помощнику коменданта, но Чичишев не откажет, думал Зотов.

— А Саморуков не пойдет, — твердил свое Гуськов.

Старшиной считался и Саморуков, но с презрением смотрел на лейтенантов. Здоровый, раскормленный волк, он был просто кладовщик и ларечник продпункта, но держался на четыре шпалы. С достоинством, на четверть часа позже он подходил к ларьку, проверял пломбы, открывал замки, поднимал и подпирал болтами козырек — и все с видом одолжения на неприязненном щекастом лице. И сколько бы красноармейцев, торопящихся на эшелоны, команд и одиночек, и инвалидов не теснилось бы перед окошком, матеря и костыляя друг друга, пробиваясь поближе, — Саморуков спокойно заворачивал рукава по локоть, обнажая жирные руки колбасника, придирчиво проверял на измятых, изорванных аттестатах штампы Чичишева и спокойно взвешивал (и уж наверно недовешивал!), ничуть не волнуясь, успеют ребята на свои эшелоны или нет. Он и квартиру себе выбрал на отшибе нарочно, чтоб его не беспокоили в нерабочее время, и хозяйку подыскал с огородом и с коровой.

Зотов представил себе Саморукова — и в нем забулькало. Эту породу он ненавидел, как фашистов, угроза от них была не меньше. Он не пони-

мал, почему Сталин не издаст указа — таких Саморуковых расстреливать тут же, в двух шагах от ларька, при стечении народа.

«Нет, Саморуков не пойдет», — соображал и Зотов. И злясь, и подло робея перед ним, Зотов не решился бы его тронуть, если б эти нерасторопные ребята не ели три или пять только дней. Но — одиннадцать!

— Ты вот что, Гуськов, ты не посылай бойца, а пойди к нему сам. И не говори, что четыре человека голодных, а скажи, что срочно вызывает капитан — через меня, понял? И пусть идет ко мне. А я — договорюсь!

Гуськов молчал.

— Ну, чего молчишь? Приказание понял? «Есть» — и отправляйся.

— А вы капитана спрашивали?

— Да тебе какое дело? Отвечаю — я! Капитан вышел, нет его сейчас.

— И капитан ему не прикажет, — рассудил Гуськов. — Такого порядка нет, чтоб ночью пломбу снимать и опять ставить из-за двух буханок да трех селедок.

И то была правда.

— А чего спешка такая? — размышлял Гуськов. — Пусть до десяти утра подождут. Одна ночь, подумаешь! На брюхо лег, спиной укрылся.

— Да у них эшелон сейчас уходит. Быстрый такой эшелон, жалко их отцеплять, они без того застряли. Груз-то их где-то ждут, где-то нужен.

— Так если эшелон уходит — все равно Саморуков прийти не успеет. Туда да назад по грязи, хоть и с фонарем, — полтора часа, не меньше. Два.

Опять-таки разумно расположил Гуськов...

Не разжимая челюстей, в шизаке буденовки с опущенными ушами, дочерна обветренный, Дыгин впивался в трубку — понять, что же толкуют с той стороны.

— И за сегодня пропало, — потерянно кивнул он теперь.

Зотов вздохнул, отпустил клапан, чтобы Гуськов не слышал.

— Ну, что делать, братец? Сегодня не выйдет. Может, до Грязей идите с этим эшелонем? Эшелон хороший, к утру — там.

И уговорил бы, но Дыгин уже почувствовал в этом лейтенанте слабину.

— Не поеду. Арестуйте. Не поеду.

В стекло двери постучали. Какой-то дородный гражданин в шерстяном широком кепи в черно-серую рябинку стоял там. С вежливым поклоном он, видимо, спрашивал разрешения, но здесь не было слышно.

— Ну-ну! Войдите! — крикнул Зотов. И нажал клапан трубки: — Ладно, Гуськов, положи трубку, я подумаю.

Мужчина за дверью не сразу понял, потом отворил немного и еще раз спросил:

— Разрешите войти?

Зотова удивил его голос — богатый, низкий и благородно-сдерживаемый, чтобы не хвалиться. Одет он был в какую-то долгополую, но с окороченными рукавами, тяжелую рыжую куртку невоенного образца, обут же — в красноармейские ботинки с обмотками. В руке он держал красноармейский небольшой засаленный вешмешок. Другой рукой, входя, он приподнял солидную кепку и поклонился обоим:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте.

— Скажите, пожалуйста, — очень вежливо, но и держась осанисто, как если б одет был не странно, а весьма даже порядочно, спросил вошедший, — кто здесь военный комендант?

— Дежурный помощник. Я.

— Тогда, вероятно, я — к вам.

Он поискал, куда деть рябую кепку, припыленную, кажется, и углем, не нашел, поджал ее под локоть другой руки, а освободившееся озабоченно стал расстегивать свой суконник. Суконник его был вовсе без ворота, а верхней, ворот был оторван, и теплый шерстяной шарф окутывал оголенную шею. Расстегнувшись, подо всем этим вошедший открыл летнее, сильно выгоревшее, испачканное красноармейское обмундирование — и еще стал отстегивать карман гимнастерки.

— Подождите-подождите, — отмахнулся Зотов. — Так вот что... — Он шурился на угрюмого неподвижного Дыгина. — Что в моей власти полнотью, то я тебе сделаю: отцеплю тебя сейчас. В десять часов утра отоваришься...

— Спасибо, — сказал Дыгин и смотрел налитыми глазами.

— Да не спасибо, а вообще-то не положено. С таким хорошим эшелонном идешь. Теперь к чему тебя прицепят — не знаю.

— Да уж две недели тащимся. Сутки больше, сутки меньше, — оживился Дыгин. — Груз я свой вижу.

— Не-ет, — поднял палец Зотов и потряс. — Нам с тобой судить нельзя. — Покосился на постороннего, подошел к Дыгину плотно и сказал еле внятно, но так же заметно окая: — Раз уж ты свой груз видишь — сообщи. Твоими лопатками сколько окопаться может? Две дивизии! А в землю влезть — это жизнь сохранить. Двадцать тысяч лопаток — это двадцать тысяч красноармейских жизней. Так?

Зотов опять покосился. Вошедший, поняв, что он мешает, отошел к стене, отвернулся и свободной рукой по очереди закрывал — нет, не закрывал, а грел уши.

— Что? Замерзли? — усмехнулся Зотов громко.

Тот обернулся, улыбаясь:

— Вы знаете, страшно похолодало. Ветер — безумный. И мокрый какой-то.

Да, ветер свистел, обтираясь об угол здания, и позвенивал непримечательным стеклом в правом окне, за шторкой. И опять пожуркивала вода из трубы.

Очень симпатичная, душу растворяющая улыбка была у этого небритого чудака. Он и стрижен не был наголо. Короткие и негустые, но покрывали его крупную голову мягкие волосы, сероватые от искорок седины.

Не был он похож ни на бойца, ни на гражданского.

— Вот, — держал он в руке приготовленную бумажку. — Вот моя...

— Сейчас, сейчас. — Зотов взял его бумажку, не глядя. — Вы... присядьте. Вот на этот стул можете. — Но еще взглянув на его шутовской кафтан, вернулся к столу, шифровку и ведомости собрал, запер в сейф, тогда кивнул Дыгину и вышел с ним к военному диспетчеру.

Она что-то доказывала по телефону, а тетя Фрося, на короточках присев к печи, обсушивалась. Зотов подошел к Подшебякиной и взял ее за руку — за ту, которая держала трубку.

— Валюша...

Девушка обернулась живо и посмотрела на него с игринкой — так, показалось ей, ласково он ее взял и держал за руку. Но еще кончила в телефон:

— А тысяча второй на проход идет, у нас к нему ничего. На тамбовскую забирай его, Петрович!..

— Валечка! Пошли быстренько тетю Фросю или переписать, или прямо сцепщикам показать эти четыре вагона, вот младший сержант с ней пойдет, — и пусть диспетчер их отцепит и отсунет куда-нибудь с прохода до утра.

Тетя Фрося с корточек, как сидела, большим суровым лицом обернулась на лейтенанта и сдвинула губу.

— Хорошо, Василь Васильич,— улыбнулась Валя. Она без надобности так и держала руку с трубкой, пока он не снял своих пальцев.— Пошлю сейчас.

— А состав тот — с первым же паровозом отправлять. Постарайся.

— Хорошо, Василь Васильич,— радостно улыбалась Валя.

— Ну, всё! — объявил лейтенант Дыгину.

Тетя Фрося вздохнула, как кузнечный мех, крикнула и распрямылась.

Дыгин молча поднял руку к виску и подержал так. Лопухий он был от распущенного шлема, и ничего в нем не было военного.

— Только мобилизован? Из рабочих, небось?

— Да.— Дыгин твердо благодарно смотрел на лейтенанта.

— Треугольничек-то привинти,— указал ему Зотов на пустую петлицу.

— Нету. Сломался.

— И шлем или уж застегни, или закатай, понял?

— Куда закатывать? — огрызнулась тетя Фрося уже в плаще.— Там дряпня заворачивает! Пошли, милоч!

— Ну, ладно, счастливого! Завтра тут другой будет лейтенант, ты на него нажимай, чтоб отправлял.

Зотов вернулся к себе, притворил дверь. Он и сам четыре месяца назад понятия не имел, как затягивать пояс, а поднимать руку для отдачи приветствия казалось ему особенно нелепо и смешно.

При входе Зотова посетитель не встал со стула полностью, но сделал движение, изъяслявшее готовность встать, если нужно. Вещмешок теперь лежал на полу, и мелко-рябое кепи покрывало его.

— Сидите, сидите.— Зотов сел за стол.— Ну, так что?

Он развернул бумажку.

— Я... от эшелона отстал...— виновато улыбнулся тот.

Зотов читал бумажку — это был догонный лист от ряжского военного коменданта — и, взглядывая на незнакомца, задавал контрольные вопросы:

— Ваша фамилия?

— Тверитинов.

— А зовут вас?

— Игорь Дементьевич.

— Это вам уже больше пятидесяти?

— Нет, сорок девять.

— Какой был номер вашего эшелона?

— Понятия не имею.

— Что ж, вам не объявляли номера?

— Нет.

— А почему здесь поставлен? Назвали его — вы?

(Это был 245413-й — тот арчединский, который Зотов проводил прошлой ночью.)

— Нет. Я рассказал в Ряжке, откуда и когда он шел — и комендант, наверно, догадался.

— Где вы отстали?

— В Скопине.

— Как же это получилось?

— Да если откровенно говорить...— та же сожалительная улыбка тронула крупные губы Тверитинова,— пошел... вещички поменять. На съестное что-нибудь... А эшелон ушел. Теперь без гудков, без звонков, без радио — так тихо уходят.

— Когда это было?

— Позавчера.

— И не успеваете догнать?

— Да, видимо, нет. И — чем догонять? На платформе — дождь. На площадке вагонной, знаете, такая с лесенкой — сквозняк ужасный, а то и часовые сгоняют. В теплушки не пускают: или права у них нет, или места у них нет. Видел я однажды пассажирский поезд, чудо такое, так кондукторы стоят на ступеньках по двое и прямо, знаете, сталкивают людей, чтоб не хватались за поручни. А товарные — когда уже тронутся, тогда садиться поздно, а пока стоят без паровоза — в какую сторону они пойдут, не догадаешься. Эмалированной дощечки «Москва—Минеральные воды» на них нет. Спрашивать ни у кого нельзя, за шпиона посчитают, к тому ж я так одет... Да вообще у нас задавать вопросы опасно.

— В военное время, конечно.

— Да оно и до войны уже было.

— Ну, не замечал!

— Было, — чуть сощурился Тверитинов. — После тридцать седьмого...

— А — что тридцать седьмой? — удивился Зотов. — А что было в тридцать седьмом? Испанская война?

— Да нет... — опять с той же виноватой улыбкой потупился Тверитинов. — Нет...

Мягкий серый шарф его распустился и в распахе суконника свисал ниже пояса.

— А почему вы не в форме? Шинель ваша где?

— Мне вообще шинели не досталось. Не выдали... — улыбнулся Тверитинов.

— А откуда этот... чапан?

— Люди добрые дали...

— М-м-да... — Зотов подумал. — Но вообще я должен сказать, что вы довольно быстро еще добрались. Вчера утром вы были у рязжского коменданта, а сегодня вечером уже здесь. Как же вы ехали?

Тверитинов смотрел на Зотова в полноту своих больших доверчивых мягких глаз. Зотову была на редкость приятна его манера говорить; его манера останавливаться, если казалось, что собеседник хочет возразить; его манера не размахивать руками, а как-то легкими движениями пальцев пояснять свою речь.

— Мне исключительно повезло. На какой-то станции я вылез из полувагона... Я за эти два дня стал разбираться в железнодорожной терминологии. «Полувагон» — я считал, в нем должно же быть что-то от вагона, ну, хотя бы полкрыши. Я залез туда по лесенке, а там просто железная яма, капкан, и сесть нельзя, прислониться нельзя: там прежде был уголь, и на ходу пыль взвихривается и все время кружит. Досталось мне там. Тут еще и дождь пошел...

— Так в чем же вам повезло? — расхохотался Зотов. — Не понимаю. Вон одежонку испачкали как!

Когда он смеялся, две большие добрые смеховые борозды ложились по сторонам его губ — вверх до разляпистого носа.

— Повезло, когда я вылез из полувагона, отряхнулся, умылся и вижу: цепляют к одному составу паровоз на юг. Я побежал вдоль состава — ну, ни одной теплушки, и все двери запломбированы. И вдруг смотрю — какой-то товарищ вылез, постоял по надобности и опять лезет в незакрытый холодный вагон. Я — за ним. А там, представляете, — полный вагон ватных одеял!

— И не запломбирован?!

— Нет! Причем, видимо, они сперва были связаны пачками, там по

десять или по пять, а теперь многие пачки развязаны, и очень удобно в них зарыться. И несколько человек уже спят!

— Ай-йяй-йяй!

— Я в три-четыре одеяла замотался и так славно, так сладко спал — целые сутки напролет! Ехали мы или стояли — ничего не знаю. Тем более третий день мне пайка не дают — я спал и спал, всю войну забыл, все окружение... Видел родных во сне...

Его небритое мятое лицо светилось.

— Стоп! — спохватую сорвался Зотов со стула. — Это в том составе... Вы с ним приехали — когда?

— Да вот... минут — сколько? Сразу к вам пришел.

Зотов кинулся к двери, с силой размахнул ее, выскочил:

— Валя! Валя! Вот этот проходной на Балашов, тысяча какой-то по-вашему...

— Тысяча второй.

— Он еще здесь?

— Ушел.

— Это — точно?

— Точно.

— Ах, черт!! — схватился он за голову. — Сидим тут, бюрократы проклятые, бумажки перекладываем, ничего не сможем, хлеб зря едим! А ну-ка, вызовите Мичуринск-Уральский!

Он заскочил опять к себе и спросил Тверитинова:

— А вы номер вагона не помните?

— Нет, — улыбнулся Тверитинов.

— Вагон — двухосный или четырехосный?

— Я этого не понимаю...

— Ну как не понимаете! Маленький или большой? На сколько тонн?

— Как в гражданскую войну говорилось: «Сорок человек, восемь лошадей».

— Так, шестнадцать тонн, значит. И — конвоя не было?

— Да как будто нет.

— Василь Васильич! — крикнула Валя. — Военный диспетчер на проезде. Вам — коменданта?

— Да, может, и не коменданта, груз, может, и не военный.

— Так тогда разрешите, я сама выясню?

— Ну, выясните, Валечка! Может, эти одеяла просто эвакуируются, шут их там знает. Пусть пройдут внимательно, найдут этот вагон, определят принадлежность, сактируют, запломбируют — одним словом, разберутся!

— Хорошо, Василь Васильич.

— Ну, пожалуйста, Валечка. Ну, вы — очень ценный работник!

Валя улыбнулась ему. Кудряшки засыпали все ее лицо.

— Але! Мичуринск-Уральский!..

Зотов затворил дверь и, еще волнуясь, прошел по комнате, побил пястью о пясть.

— Работы — не охватить, — окал он. — И помощника не дают!.. Ведь эти одеяла шутя могут разворовать. Может, уже недостача.

Он еще походил, сел. Снял очки протереть тряпочкой. Лицо его сразу потеряло деловитость и быстрый смысл, стало ребяческое, защищенное только зеленой фуражкой.

Тверитинов терпеливо ждал. Он обошел безрадостным взглядом шторы маскировки, цветной портрет Кагановича в мундире железнодорожного маршала, печку, ведро, совок. В натопленной комнате суконник его, ометенный угольной пылью, начинал тяготить Тверитинова. Он откинул его по-за плечи, а шарф снял.

Лейтенант надел очки и опять смотрел в догонный лист. Догонный лист, собственно, не был настоящим документом, он составлен был со слов заявителя и мог содержать в себе правду, а мог и ложь. Инструкция требовала крайне пристально относиться к окруженцам, а тем более — одиночкам. Тверитинов не мог доказать, что он отстал именно в Скопине. А может быть, в Павельце? И за это время съездил в Москву или еще куда-нибудь по заданию?

Но в его пользу говорило, что уж очень быстро он добрался.

Впрочем, где гарантия, что он именно из этого эшелона?

— Так вам тепло было сейчас ехать?

— Конечно. Я б с удовольствием и дальше так поехал.

— Зачем же вы вылезли?

— Чтоб явиться к вам. Мне так велели в Рязске.

На большой голове Тверитинова все черты были крупны: лоб широк и высок, брови густые, крупные, и нос большой. А подбородок и щеки заросли равномерной серо-седоватой щетиной.

— Откуда вы узнали, что это Кречетовка?

— Грузин какой-то спал рядом, он мне сказал.

— Военный? В каком звании?

— Я не знаю, он из одеял только голову высунул.

Тверитинов стал отвечать как-то печально, как будто с каждым ответом теряя что-то.

— Ну, так.— Зотов отложил догонный лист.— Какие у вас есть еще документы?

— Да никаких,— грустно улыбнулся Тверитинов.— Откуда ж у меня возьмутся документы?

— Н-да... Никаких?

— В окружении мы нарочно уничтожали, у кого что было.

— Но сейчас, когда вас принимали на советской территории, вам же должны были выдать что-то на руки?

— Ничего. Составили списки, разбили по сорок человек и отправили.

Верно, так и должно было быть. Пока человек не отстал, он член сороковки, не нужны ему документы.

Но свое невольное расположение к этому воспитанному человеку с такой достойной головой Зотову все же хотелось подтвердить хоть каким-нибудь материальным доказательством.

— Ну что-нибудь! Что-нибудь у вас в карманах осталось?

— Ну только разве... фотокарточки. Семьи.

— Покажите! — не потребовал, а попросил лейтенант.

У Тверитинова слегка поднялись брови. Он еще улыбнулся той растерянной или не могущей выразить себя улыбкой и из того же кармана гимнастерки (другой у него не застегивался, не было пуговицы) вынул плоский сверток плотной оранжевой бумаги. Он развернул его на коленях, достал две карточки девять на двенадцать, сам еще взглянул на ту и другую, потом привстал, чтобы поднести карточки коменданту,— но от стула его до стола было недалеко, Зотов переклонился и принял снимки. Он стал рассматривать их, а Тверитинов, продолжая держать разогнутую обертку у колена, выпрямил спину и тоже пытался издали смотреть.

На одной из карточек в солнечный день в маленьком саду и, наверно, ранней весной, потому что листочки еще были крохотные, а глубина деревьев — сквозистая, снята была девочка лет четырнадцати в полосатеньком сереньком платьице с перехватом. Из открытого ворота возвышалась длинная худая шейка, и лицо было вытянутое, тонкое — на снимке хоть и неподвижное, а как бы вздрогнувшее. Во всем снимке было что-то недозревшее, недосказанное, и получился он не веселый, а щемящий.

Девчушка очень понравилась Зотову. Его губы распустились.

— Как зовут? — тихо спросил он.

Тверитинов сидел с закрытыми глазами.

— Ляля, — еще тише ответил он. Потом открыл веки и поправился: — Ирина.

— Когда снята?

— В этом году.

— А где это?

— Под Москвой.

Полгода! Полгода прошло с минуты, когда сказали: «Ляленька! Снимаю!» — и щелкнули затвором, но уже грохнули десятки тысяч стволов с тех пор, и вырвались миллионы черных фонтанов земли, и миллионы людей прокружились в какой-то проклятой карусели — кто пешком из Литвы, кто поездом из Иркутска. И теперь со станции, где холодный ветер нес перемесь дождя и снега, где изнывали эшелоны, безутолку толпошились днем и на черных полах распологом спали ночью люди, — как было поверить, что и сейчас есть на свете этот садик, эта девочка, это платье?!

На втором снимке женщина и мальчик сидели на диване и рассматривали большую книжку с картинками во весь лист. Мать тоже была худощавая, тонкая, наверно высокая, а семилетний мальчик с плотным лицом и умным-преумным выражением смотрел не в книжку, а на мать, объяснявшую ему что-то. Глаза у него были такие же крупные, как у отца.

И вообще все они в семье были какие-то отборные. Самому Зотову никогда не приходилось бывать в таких семьях, но мелкие засечки памяти то в Третьяковской галерее, то в театре, то при чтении незаметно сложились в понятие, что такие семьи есть. Их умным уютом пахло на Зотова с двух этих снимков.

Возвращая их, Зотов заметил:

— Да вам жарко. Вы разденьтесь.

— Да, — согласился Тверитинов и снял суконник. Он затруднился, куда его деть.

— Вон, на диван, — показал Зотов и даже сделал движение положить сам.

Теперь обнаружили латки, надорванность, разнота пуговиц летней обмундировки Тверитинова и неумелость с обмотками: свободные витки их сползали и побалтывались. Вся одежда такая казалась издевательством над его большой седоватой головой.

Зотов уже не сдерживал симпатии к этому уравновешенному человеку, не зря так сразу понравившемуся ему.

— А кто вы сами? — с уважением спросил он.

Грустно заворачивая карточки в оранжевую бумагу, Тверитинов усмехнулся своему ответу:

— Артист.

— Да-а? — поразился Зотов. — Как это я не догадался сразу! Вы очень похожи на артиста!..

(Сейчас-то он менее всего походил!..)

— ...Заслуженный, наверно?

— Нет.

— Где ж вы играли?

— В Драматическом, в Москве.

— В Москве я только один раз был — во МХАТе, мы экскурсией ездили. А вот в Иванове часто бывал. Вы — ивановский новый театр не видели?

— Нет.

— Снаружи — так себе, коробка серая, железобетонный стиль, а внутри — замечательно! Я очень любил бывать в театрах, ведь это не просто развлечение, ведь в театрах учишься, верно?..

(Конечно, акты о сгоревшем эшелоне кричали, что в них надо разбираться, но на то нужно было полных два дня все равно. А лестно познакомиться и часок поговорить с большим артистом!)

— В каких же ролях вы играли?

— Многих, — невесело улыбнулся Тверитинов. — За столько лет не перечислишь.

— Ну все-таки? Например?

— Ну... подполковник Вершинин... доктор Ранк...

— У-гм... у-гм... (Не помнил Зотов таких ролей.) А в пьесах Горького вы не играли?

— Конечно, обязательно.

— Я больше всего люблю пьесы Горького. И вообще — Горького! Самый наш умный, самый гуманный, самый большой писатель, вы согласны?

Тверитинов сделал бровями усилие найти ответ, но не нашел его и промолчал.

— Мне кажется, я даже фамилию вашу знаю. Вы — не заслуженный?

Зотов слегка покраснел от удовольствия разговора.

— Был бы заслуженный, — чуть развел руками Тверитинов, — пожалуй, здесь бы не был сейчас.

— Почему?.. Ах, ну да, вас бы не мобилизовали.

— Нас и не мобилизовали. Мы шли — в ополчение. Мы записывались добровольно.

— Ну, так добровольно записывались, наверно, и заслуженные?

— Записывались все, начиная с главных режиссеров. Но потом некто после какого-то номера провел черту, и выше черты — остались, ниже черты — пошли.

— И было у вас военное обучение?

— Несколько дней. Штыковому бою. На палках. И как бросать гранаты. Деревянные.

Глаза Тверитинова уперлись в какую-то точку пола так прочно, что казались остеклелыми.

— Но потом вас — вооружили?

— Да, уже на марше подбрасывали винтовки. Образца девяносто первого года. Мы до самой Вязьмы шли пешком. А под Вязьмой попали в котел.

— И много погибло?

— Я так думаю, в плен больше попало. Небольшая нас группка слилась с окруженцами-фронтовиками, они нас и вывели. Я даже не представляю сейчас, где фронт? У вас карты нет?

— Карты нет, сводки неясные, но я так могу вам сказать: Севастополь с кусочком наш, Таганрог у нас, Донбасс держим. А вот Орел и Курск — у них...

— Ой-йо-йо!.. А под Москвой?

— Под Москвой особенно непонятно. Направления уже почти дачные. А Ленинград — тот вообще отрезан...

Лоб Зотова и вся полоса глаз сдвинулись в морщины страдания:

— А я не могу попасть на фронт!

— Попадете еще.

— Да вот разве потому только, что война — не на год.

— Вы были студент?

— Да! Собственно, мы защищали дипломы уже в первые дни войны... Какая уж там защита!.. Мы должны были к декабрю их готовить. Тут

нам сказали: тащите, у кого какие чертежи, расчеты, и ладно.— Зотову стало интересно, свободно, он захлебывался все сразу рассказать.— Да ведь все пять лет... Мы поступали в институт — уже поднял мятеж Франко! Потом сдали Австрию! Чехословакию! Тут началась мировая война! Тут — финская! Вторжение Гитлера во Францию! в Грецию! в Югославию!.. С каким настроением мы могли изучать текстильные машины?! Но дело не в этом. После защиты дипломов ребят послали сразу на курсы при Академии моторизации-механизации, а я из-за глаз отстал, очень близорукий. Ну, ходил штурмовал военкомат каждый день, каждый день. У меня опыт еще с тридцать седьмого года... Единственное, чего добился — дали путевку в Интендантскую академию. Ладно. Я с этой путевкой проезжал Москву, да и сунулся в Наркомат обороны. Допросился к какому-то полковнику старому, он спешил ужасно, уже портфель застегивал. Так, мол, и так, я инженер, не хочу быть интендантом. «Покажите диплом!». А диплома со мной нет... «Ладно, вот тебе один только вопрос, ответишь — значит, инженер: что такое кривошип?» Я ему чеканю с ходу: «Устройство, насаженное на ось вращения и шарнирно соединенное с шатуном для...» Зачеркнул Интендантскую, пишет: «В Транспортную академию». И убежал с портфелем. Я — торжествую! А приехал в Транспортную — набора нет, только курсы военных комендантов. Не помог и кривошип!..

Вася знал, что не время сейчас болтать, вспоминать, но уж очень был редок случай отвести душу с внимательным интеллигентным человеком.

— Да вы курите, наверно? — опомнился Вася.— Курите же, пожалуйста... — он скопился на догонный лист... — Игорь Дементьевич. Вот табак, вот бумага — мне выдают, а я не курю.

Он достал из ящика пачку легкого табака, едва начатую, и подвинул Игорю Дементьевичу.

— Курю, — сознался Игорь Дементьевич, и лицо его озарилось предвкушением. Он приподнялся, наклонился над пачкой, но не стал сразу сворачивать, а сперва просто набрал в себя табачного духу и, кажется, чуть престодал. Потом прочел название табака, покрутил головой: — Армянский...

Свернул толстую папиросу, склеил языком, и тут же Вася поджег ему спичку.

— А в ватных одеялах — там никто не курит? — осведомился Зотов.

— Я не заметил, — уже блаженно откинулся Игорь Дементьевич. — Наверно, не было ни у кого.

Он курил с прищуренными глазами.

— А что вы упомянули о тридцать седьмом? — только спросил он.

— Ну, вы же помните обстановку тех лет! — горячо рассказывал Вася.— Идет испанская война! Фашисты — в Университетском городке. Интербригада! Гвадалахара, Харама, Теруэль! Разве усидишь? Мы требуем, чтобы нас учили испанскому языку — нет, учат немецкому. Я достаю учебник, словарь, запускаю зачеты, экзамены — учу испанский. Я чувствую по всей ситуации, что мы там участвуем, да революционная совесть не позволит нам остаться в стороне! Но в газетах ничего такого нет. Как же мне туда попасть? Очевидно, что просто бежать в Одессу и садиться на корабль — это мальчишество, да и пограничники. И вот я — к начальнику четвертой части военкомата, третьей части, второй части, первой части: пошлите меня в Испанию! Смеются: ты с ума сошел, там никого наших нет, что ты будешь делать?.. Вы знаете, я вижу, как вы любите курить, забирайте-ка эту пачку всю себе! Я все равно для угощения держу. И на квартире еще есть. Нет уж, пожалуйста, положите ее в вещмешок, завяжите, тогда поверю!.. Табачок теперь — «проходное свидетельство», пригодится вам в пути... Да, и вдруг, понимаете, читаю

в «Красной звезде», а я все газеты сплошь читал, цитируют французского журналиста, который, между прочим, пишет: «Германия и СССР рассматривают Испанию как опытный полигон». А я — дотошный. Выпросил в библиотеке этот номер, подождал еще дня три, не будет ли редакционного опровержения. Его нет. Тогда иду к самому военному и говорю: «Вот, читайте. Опровержения не последовало, значит, факт, что мы там воюем. Прошу послать меня в Испанию простым стрелком!» А военком как хлопнет по столу: «Вы — не провоцируйте меня! Кто вас подослал? Надо будет — позовем. Кру-гом!»

И Вася сердечно рассмеялся, вспоминая. Смеховые бороздки опять легли по его лицу. Очень непринужденно ему стало с этим артистом и хотелось рассказать еще о приезде испанских моряков, и как он держал к ним ответную речь по-испански, и расспросить, что и как было в окружении, вообще поговорить о ходе войны с развитым, умным человеком.

Но Подшебякина приоткрыла дверь:

— Василь Васильич! Диспетчер спрашивает: у вас есть что-нибудь к семьсот девяносто четвертому? А то мы его на проход пустим.

Зотов посмотрел в график:

— Это какой же? На Поворино?

— Да.

— Он уже здесь?

— Минут через десять подойдет.

— Там что-то грузов наших мало. Что там еще?

— Там промышленные грузы и несколько пассажирских теплушек.

— Ах, вот замечательно! Замечательно! Игорь Дементьевич, вот на этот я вас и посажу! Это очень для вас хороший поезд, вылезать не надо. Нет, Валечка, мои грузы идут там целиком, можно на проход. Пусть при-муд его тут поближе, на первый или на второй, скажи.

— Хорошо, Василь Васильич.

— А насчет одеял ты все передала?

— Все точно, Василь Васильич.

Ушла.

— Жалко только одно, что накормить мне вас нечем, ни сухаря тут в ящике нет.— Зотов выдвинул ящик, как бы все же не уверенный, может, сухарь-то и есть. Но паек его был как паек, и хлеб, приносимый на дежурство, Вася съедал с утра.— А ведь вы с тех пор, как отстали, ничего не едите?

— Не беспокойтесь, ради бога, Василь Васильич.— Тверитинов при-ложил развернутый веер из пяти пальцев к своей засмороженной гимна-стерке с разными пуговицами.— Я и так бесконечно вам благодарен.— И взгляд и голос его уже не были печальны.— Вы меня пригрели бук-вально и переносно. Вы — добрый человек. Время такое тяжелое, это очень ценить. Теперь, пожалуйста, объясните мне, куда же я поеду и что мне делать дальше?

— Сперва вы поедете, — с удовольствием разъяснял Зотов, — до стан-ции Грязи. Вот жалко, карты нет. Представляете, где это?

— Н-не очень... Название слышал, кажется.

— Да известная станция! Если в Грязях вы будете днем, пойдите с этим вашим листком — вот, я делаю на нем отметку, что вы были у меня, — пойдите к военному коменданту, он напишет распоряжение в продпункт, и вы получите на пару дней паек.

— Очень вам благодарен.

— А если ночью — сидите, не вылезайте, держитесь за этот эшелон! Вот бы влипли вы в своих одеялах, если б не проснулись — завезли б вас!.. Из Грязей ваш поезд пойдет на Поворино, но и в Поворино — разве только на продпункт, не отстаньте! — он довезет вас еще до Арче-

ды. В Арчеду-то и назначен ваш эшелон двести сорок пять четыреста тринадцать.

И Зотов вручил Тверитинову его догонный лист. Пряча лист в карман гимнастерки, все тот же, на котором застегивался клапан, Тверитинов спросил:

— Арчеда? Вот уж никогда не слышал. Где это?

— Это считайте уже под Сталинградом.

— Под Сталинградом,— кивнул Тверитинов. Но лоб его наморщился. Он сделал рассеянное усилие и переспросил:— Позвольте... Сталинград... А как он назывался раньше?

И — все оборвалось и охолонуло в Зотове! Возможно ли? Советский человек — не знает Сталинграда? Да не может этого быть никак! Никак! Никак! Это не помещается в голове!

Однако он сумел себя сдержать. Подобрался. Поправил очки. Сказал почти спокойно:

— Раньше он назывался Царицын.

(Значит, не окруженец. Подослан! Агент! Наверно, белоэмигрант, потому и манеры такие.)

— Ах, верно, верно, Царицын. Оборона Царицына.

(Да не офицер ли он переодетый? То-то карту спрашивал... И слишком уж переиграл с одежкой.)

Враждебное слово это — «офицер», давно исчезнувшее из русской речи, даже мысленно произнесенное, укололо Зотова, как штык.

(Ах, спростовал! Ах, спростовал! Так, спокойствие. Так, бдительность. Что теперь делать? Что теперь делать?)

Зотов нажал один долгий зуммер в полевом телефоне.

И держал трубку у уха, надеясь, что сейчас капитан снимет свою. Но капитан не снимал.

— Василь Васильич, мне все-таки совестно, что я вас обобрал на табак.

— Ничего. Пожалуйста,— отклонил Зотов.

(Тюха-матюха! Раскис. Расстилался перед врагом, не знал, чем угодить.)

— Но уж тогда разрешите — я еще разик у вас надымлю. Или мне выйти?

(Выйти ему?! Прозрачно! Понял, что промах дал, теперь хочет смыться.)

— Нет-нет, курите здесь. Я люблю табачный дым.

(Что же придумать? Как это сделать?..)

Он нажал зуммер трижды. Трубку сняли:

— Караульное слушает.

— Это Зотов говорит.

— Слушаю, товарищ лейтенант.

— Где там Гуськов?

— Он... вышел, товарищ лейтенант.

— Куда это — вышел? Что значит — вышел? Вот обеспечить, чтобы через пять минут он был на месте.

(К бабе пошел, негодяй!)

— Есть обеспечить.

(Что же придумать?)

Зотов взял листок бумаги и, заслоняя от Тверитинова, написал на нем крупно: «Валя! Войдите к нам и скажите, что 794-й опаздывает на час».

Он сложил бумажку, подошел к двери и отсюда сказал, протянув руку:

— Товарищ Подшебякина! Вот возьмите. Это насчет того транспорта.

— Какого, Василь Васильич?

— Тут номера написаны.

Подшебякина удивилась, встала, взяла бумажку. Зотов, не дожидаясь, вернулся.

Тверитинов уже одевался.

— Мы поезда не пропустим? — доброжелательно улыбался он.

— Нет, нас предупредят.

Зотов прошелся по комнате, не глядя на Тверитинова. Осадил сборки гимнастерки под ремнем на спину, пистолет перевел со спины на правый бок. Поправил на голове зеленую фуражку. Абсолютно нечего было делать и не о чем говорить.

А лгать Зотов — не умел.

Хоть бы говорил что-нибудь Тверитинов, но он молчал скромно.

За окном иногда журчала струйка из трубы, отметаемая и разбрасываемая ветром.

Лейтенант остановился около стола и, держась за угол его, смотрел на свои пальцы.

(Чтобы не дать заметить перемены, надо было смотреть по-прежнему на Тверитинова, но он не мог себя заставить.)

— Итак, через несколько дней — праздник! — сказал он. И насто-рожился.

(Ну, спроси, спроси: к а к о й праздник? Тогда уж последнего сомнения не будет.)

Но гость отозвался:

— Да-а...

Лейтенант взбросил на него взгляд. Тот продолжительно кивал, куря.

— Интересно, будет парад на Красной площади?

(Какой уж там парад! Он и не думал об этом, а просто так, чтобы время занять.)

В дверь постучали.

— Разрешите, Василий Васильевич? — Валя просунула голову. Тверитинов увидел ее и потянулся за вещмешком. — Семьсот девяносто четвертый задержали на перегоне. Придет на час позже.

— Да-а-а! Вот какая досада. (Его самого резала противная фальшь своего голоса.) Хорошо, товарищ Подшебякина.

Валя скрылась.

За окном близко, на первом пути, послышалось сдержанное дыхание паровоза, замедляющийся к остановке стук состава; передалось подрагивание земли.

— Что же делать? — размышлял вслух Зотов. — Мне ведь надо идти на продпункт.

— Так я выйду, я — где угодно, пожалуйста, — охотливо сказал Тверитинов, улыбаясь и вставая уже с вещмешком в руках.

Зотов снял с гвоздя шинель.

— А зачем вам мерзнуть где попало? В станционный залик не вступите, там на полу лежат сплошь. Вы не хотите пройти со мной на продпункт?..

Это звучало как-то неубедительно, и он добавил, чувствуя, что краснеет:

— Я... может быть, сумею вам... там... устроить что-нибудь поесть. Если б еще Тверитинов не обрадовался! Но он просиял:

— Это уж был бы с вашей стороны верх добросердечия. Я не смею вас просить.

Зотов отвернулся, осмотрел стол, тронул дверцу сейфа, потушил свет:

— Ну, пойдемте.

Запирая дверь, сказал Вале:

— Если вызовут с телеграфа, я скоро вернусь.

Тверитинов выходил перед ним в своем дурацком чапане и расслабленных, сбивающихся обмотках.

Через холодный темный коридорчик с синей лампочкой они вышли на перрон.

В черноте ночи под неразличимым небом косо неслись влажные, тяжелые, не белые вовсе хлопья дряпни — не дождя и не снега.

Прямо на первом пути стоял поезд. Он весь был черен, но немного чернее неба — и так угадывались его вагоны и крыши. Слева, куда протянулся паровоз, огнедышаще светился зольник, сыпалась жаркая светящаяся зола на полотно и относилась в сторону быстро. Еще дальше и выше — ни на чем висел одинокий круглый зеленый огонь. Направо, к хвосту поезда, где-то вспрыскивали струйки огненных искр над вагонами. Туда, к этим искоркам жизни, по перрону торопились темные фигуры, больше бабьи. Сливалось тяжелое дыхание многих от чего-то невидимого навьюченного, громоздкого. Тянули за собой плачущих и молчаливых детей. Кто-то вдвоем, запышенные, оттолкнув Зотова, пронесли огромный сундук, что ли. Еще кто-то за ними со скрежетом тянул волоком по перрону что-то еще тяжелее. (Именно теперь, когда такая убойная стала езда, — теперь-то все и возили с собой младенцев, бабушек, таскали мешки неподым, корзины величиной с диваны и сундуки величиной с комоды.)

Если б не зола под паровозом, не семафор, не искры теплушечных труб да не приглушенный огонек фонаря, промелькнувший где-то на дальних путях, — поверить было бы нельзя, что многие эшелоны сбились тут и что это станция, а не дремучий лес, не темное чистое поле, в медлительных годовых переменах уже покорно готовое к зиме.

Но слышало ухо: лязганье сцепов, рожок стрелочника, пыхтение двух паровозов, топот и гомон всполошенных людей.

— Нам сюда! — позвал Зотов в проходик, в сторону от перрона.

У него был фонарик с осиненным стеклышком, и он несколько раз посветил под ноги, чтоб и Тверитинов видел.

— Ох! Чуть фуражку не сорвало! — пожаловался Тверитинов.

Лейтенант шел молча.

— Снег не снег, за воротник лезет, — поддерживал тот разговор.

У него и воротника-то не было.

— Здесь будет грязно, — предупредил лейтенант.

И они вступили в самую хлюпающую, чвакающую грязь, не разобрать было дороги посуше.

— Стой!! Кто идет? — оглушающе крикнул часовой где-то близко.

Тверитинов сильно вздрогнул.

— Лейтенант Зотов.

Так напрямик, выше щиколотки в грязи и, где гуще, с усилием вытягивая ноги, они обошли флигель продпункта и с другой стороны взошли на крылечко. Постучали сильно ногами и с плеч сбили мокроту. Еще посветив фонариком в сенях, лейтенант ввел Тверитинова в общее помещение с пустым столом и двумя лавками (бойцы продпункта обедали здесь и проходили занятия). Давно искали шнура провести сюда лампочку, но и по сегодня небеленая тесовая комната эта слабо и неровно освещена была фонарем, поставленным на стол. Углы скрадывались темнотой.

Открылась дверь дежурки. Освещенный сзади электричеством, а спереди темный, стал в двери боец.

— Где Гуськов? — строго спросил Зотов.

— Стой!! Кто идет? — рывкнули снаружи.

На крыльце затопали, вошел Гуськов и бегавший за ним красноармеец.

— Явился, товарищ лейтенант.— Гуськов сделал только приблизительное движение, похожее на отдачу приветствия. На лице Гуськова, всегда немного нахальном, Зотов и в полусвете угадал сейчас недовольные подергивания — из-за того, что отрывал его по пустякам лейтенант, которому он почти и не подчинялся.

Вдруг Зотов сердито закричал:

— Сержант Гуськов! Сколько постов положено в вашем карауле?!

Гуськов не испугался, но удивился (Зотов не кричал никогда). Тихо он ответил:

— Положено два, но вы знаете, что...

— Ничего не знаю! Как в караульном расписании стоит — так поставьте немедленно!

Губа Гуськова опять дернулась:

— Красноармеец Бобнев! Возьмите оружие, станьте на пост.

Тот боец, что привел Гуськова, обошел начальство, тяжело стуча по полу, и ушел в соседнее помещение.

— А вы, сержант, пойдете со мной в комендатуру.

Уж и так Гуськов смекнул, что случилось что-то.

Красноармеец вернулся, неся винтовку с прикинутым штыком, прошагал мимо всех четко и у двери в сени стал в позу часового.

(И вот когда овладела Зотовым робость! Не шли слова, какие сказать.)

— Вы... я...— сказал Зотов очень мягко, с трудом поднимая глаза на Тверитинова,— ...я пока по другому делу...— Он особенно явственно выговаривал сейчас «о».— А вы здесь присядьте, пожалуйста. Пока. Подождите.

Дико выглядела голова Тверитинова в широкой кепке вместе с тревожной тенью своей на стене и на потолке. Перехлестнувшийся шарф удавкой охватывал его шею.

— Вы меня здесь оставите? Но, Василь Васильич, я тут поезд пропущу! Уж разрешите, я пойду на перрон.

— Нет-нет... Вы останетесь здесь...— спешил к двери Зотов.

И Тверитинов понял:

— Вы — задерживаете меня?!— вскрикнул он.— Товарищ лейтенант, но за что?! Но дайте же мне догнать мой эшелон!

И тем же движением, каким он уже раз благодарил, он приложил к груди пять пальцев, развернутых веером. Он сделал два быстрых шага вслед лейтенанту, но сообразительный часовой выбросил винтовку штыком впереклон.

Зотову невольно пришлось оглянуться и еще раз — последний раз в жизни — увидеть при тусклом фонаре это лицо, отчаянное лицо Лира в гробовом помещении.

— Что вы делаете! Что вы делаете!— кричал Тверитинов голосом гулким, как колокол.— Ведь этого не исправитишь!!

Он взбросил руки, вылезавшие из рукавов, одну с вещмешком, распух до размеров своей крылатой темной тени, и потолок уже давил ему на голову.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь,— уговаривал Зотов, ногой нащупывая порог сеней.— Надо будет только выяснить один вопрос и к...

И ушел.

И за ним Гуськов.

Проходя комнату военного диспетчера, лейтенант сказал:

— Этот состав задержите еще.

В кабинете он сел за стол и писал.

«Оперативный пункт ТО НКВД.

Настоящим направляю вам задержанного, назвавшегося окруженцем Тверитиновым Игорем Дементьевичем, якобы отставшим в Скопине от эшелона 245413. В разговоре со мной...»

— Собирайся!— сказал он Гуськову.— Возьми бойца и отвезешь его в узел.

Прошло несколько дней, миновали и праздники.

Но не уходил из памяти Зотова этот человек с такой удивительной улыбкой и карточкой дочери в полосатеньком платице.

Все сделано было, кажется, так, как надо.

Так, да не так...

Хотелось убедиться, что он таки переодетый диверсант или уж освобожден давно. Зотов позвонил в узел, в оперативный пункт.

— А вот я посылал вам первого ноября задержанного, Тверитинова. Вы не скажете — что с ним выяснилось?

— Разбираются!— твердо ответили в телефон.— А вы вот что, Зотов. В актах о грузах, сгоревших до восьмидесяти процентов, есть неясности. Это очень важное дело, на этом кто-то может руки нагреть.

И всю зиму служил Зотов на той же станции, тем же помощником коменданта. И не раз тянуло его еще позвонить, справиться, но могло показаться подозрительным.

Однажды из узловый комендатуры приехал по делам следователь. Зотов спросил его как бы невзначай:

— А вы не помните такого Тверитинова? Я как-то осенью задержал его.

— А почему вы спрашиваете?— нахмурился следователь значительно.

— Да просто так... интересно... чем кончилось?

— Раз-берутся и с вашим Тверикиным. У нас брака не бывает.

Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека...

Матренин двор

Иа сто восемьдесят четвертом километре от Москвы еще с добрых полгода после того все поезда замедляли свой ход почти как бы до ошупи. Пассажиры льнули к стеклам, выходили в тамбур: чинят пути, что ли? Из графика вышел?

Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость, пассажиры усаживались.

Только машинисты знали и помнили, отчего это все.

Да я.

Летом 1953 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад — просто в Россию. Ни в одной точке ее никто меня не ждал и не звал, потому что я задержался с возвратом годиков на десять. Мне просто хотелось затесаться в среднюю полосу — без жары, с лиственным рокотом леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой нутряной России — если такая где-то была, жила.

За год до того по сую сторону Уральского хребта я мог наняться разве

таскать носилки. Даже электриком на порядочное строительство меня бы не взяли. А меня тянуло — учительствовать. Говорили мне знающие люди, что нечего и на билет тратиться, впустую проезжу.

Но что-то начинало уже страгиваться. Когда я поднялся по лестницеского облоно и спросил, где отдел кадров, то с удивлением увидел, что кадры уже не сидели здесь за черной кожаной дверью, а за остекленной перегородкой, как в аптеке. Я подошел к окошечку робко, поклонился и попросил:

— Скажите, не нужны ли вам математики где-нибудь подальше от железной дороги? Я хочу поселиться там навсегда.

Каждую букву в моих документах перещупали, ходили из комнаты в комнату и куда-то звонили. Тоже и для них редкость была — все ведь просят в город, да покрупней. И вдруг-таки дали мне местечко — Высокое Поле. От одного названия веселела душа.

Название не лгало. На взгорке между ложков, а потом других взгорков, цельно-обомкнутое лесом, с прудом и плотинкой, Высокое Поле было тем самым местом, где не обидно бы и жить и умереть. Там я долго сидел в рощице на пне и думал, что от души бы хотел не нуждаться каждый день завтракать и обедать, только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше — когда ниоткуда не слышно радио и все в мире молчит.

Увы, там не пекли хлеба. Там не торговали ничем съестным. Вся деревня волокла снесь мешками из областного города.

Я вернулся в отдел кадров и взмолился перед окошечком. Сперва и разговаривать со мной не хотели. Потом все ж ходили из комнаты в комнату, позвонили, поскрипели и отпечатали мне в приказе: «Т о р ф о п р о д у к т».

Торфопродукт? Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое!

На станции Торфопродукт, состарившемся временном серо-деревянном бараке, висела строгая надпись: «На поезд садиться только со стороны вокзала!» Гвоздем по доскам было доцарапано: «И без билетов». А у кассы с тем же меланхолическим остроумием было навсегда вырезано ножом: «Билетов нет». Точный смысл этих добавлений я оценил позже. В Торфопродукт легко было приехать. Но не уехать.

А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие, непрохожие леса. Потом их вырубил — торфоразработчики и соседний колхоз. Председатель его, Шашков, свел под корень изрядно гектаров леса и выгодно сбыв в Одесскую область.

Меж торфяными низинами беспорядочно разбросался поселок — однообразные бараки тридцатых годов и, с резьбой по фасаду, с остекленными верандами, домики пятидесятых. Но внутри этих домиков нельзя было увидеть перегородки, доходящей до потолка, так что не снять мне было комнаты с четырьмя настоящими стенами.

Над поселком дымилась фабричная труба. Туда и сюда сквозь поселок проложена была узкоколейка, и паровозики, тоже густо-дымящие, пронзительно свистя, таскали по ней поезда с бурым торфом, торфяными плитами и брикетами. Без ошибки я мог предположить, что вечером над дверьми клуба будет надрываться радиола, а по улице пображивать пьяные — не без того, чтобы пырнуть друг друга ножом.

Вот куда завела меня мечта о тихом уголке России. А ведь там, откуда я приехал, мог я жить в глинобитной хатке, глядящей в пустыню. Там дул такой свежий ветер ночами и только звездный свод распахивался над головой.

Мне не спалось на станционной скамье, и я чуть свет опять побрел по поселку. Теперь я увидел крохотный базарец. По рани единственная

женщина стояла там, торгуя молоком. Я взял бутылку, стал пить тут же.

Меня поразила ее речь. Она не говорила, а напевала умильно, и слова ее были те самые, за которыми потянула меня тоска из Азии:

— Пей, пей с душою желадной. Ты, потай, приезжий?

— А вы откуда? — просветлел я.

И я узнал, что не всё вокруг торфоразработки, что есть за полотном железной дороги — бугор, а за бугром — деревня, и деревня эта — Тальново, испокон она здесь, еще когда была барыня-«цыганка» и кругом лес лихой стоял. А дальше целый край идет деревень: Часлицы, Овинцы, Спудни, Шевертни, Шестимирово — все поглуше, от железной дороги подале; к озерам.

Ветром успокоения потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне кондовую Россию.

И я попросил мою новую знакомую отвести меня после базара в Тальново и подыскать избу, где бы стать мне квартирантом.

Я казался квартирантом выгодным: сверх платы сулила школа за меня еще машину торфа на зиму. По лицу женщины прошли заботы уже не умильные. У самой у нее места не было (они с мужем воспитывали ее престарелую мать), оттого она повела меня к одним своим родным и еще к другим. Но и здесь не нашлось комнаты отдельной, было тесно и шумно.

Так мы дошли до высыхающей подпруженной речушки с мостиком. Милей этого места мне не приглянулось во всей деревне; две-три ивы, избушка перекосяченная, а по пруду плавали утки, и выходили на берег гуси, отряхаясь.

— Ну, разве что к Матрене зайдем,— сказала моя проводница, уже уставая от меня.— Только у нее не так уборно, в запущи она живет, болеет.

Дом Матрены стоял тут же, неподалеку, с четырьмя оконцами в ряд на холодную некрасную сторону, крытый щепой, на два ската и с украшенным под теремок чердачным окошком. Однако изгнивала щепа, посерели от старости бревна сруба и ворота, когда-то могучие, и проредилась их обвершка.

Калитка была на запоре, но проводница моя не стала стучать, а просунула руку под низом и отвернула завертку — нехитрую затею против скота. Дворик не был крыт, но в доме многое было под одной связью. За входной дверью внутренние ступеньки поднимались на просторные мосты, высоко осененные крышей. Налево еще ступеньки вели вверх в горницу — отдельный сруб без печи, и ступеньки вниз, в подклеть. А направо шла сама изба, с чердаком и подпольем.

Строено было давно и добротнo, на большую семью, а жила теперь одинокая женщина лет под шестьдесят.

Когда я вошел в избу, она лежала на русской печи, тут же, у входа, накрытая неопределенным темным тряпьем, таким бесценным в жизни рабочего человека.

Просторная изба и особенно лучшая приоконная ее часть была уставлена по табуреткам и лавкам — горшками и кадками с фикусами. Они заполнили одиночество хозяйки безмолвной, но живой толпой. Они разрослись привольно, забирая небогатый свет северной стороны. В остатке света и к тому же за трубой кругловатое лицо хозяйки показалось мне желтым, больным. И по глазам ее замутненным можно было видеть, что болезнь измотала ее.

Разговаривая со мной, она так и лежала на печи ничком, без подушки, головой к двери, а я стоял внизу. Она не проявила радости заполу-

чить квартиранта, жаловалась на черный недуг, из приступа которого выходила сейчас: недуг налетал на нее не каждый месяц, но, налетев,

— ...держит два-дни и три-дни, так что ни встать, ни подать я вам не приспею. А избу бы не жалко, живите.

И она перечисляла мне других хозяек, у кого будет мне покойней и угожей, и слала обойти их. Но я уже видел, что жребий мой был — поселиться в этой темноватой избе с тусклым зеркалом, в которое совсем нельзя было смотреться, с двумя яркими рублевыми плакатами о книжной торговле и об урожае, повешенными на стене для красоты.

И хотя Матрена Васильевна вынудила меня походить еще по деревне, и хотя в мой второй приход долго отнекивалась:

— Не умеши, не варёмши — как утрафишь? — но уж встретила меня на ногах, и даже будто удовольствие пробудилось в ее глазах от того, что я вернулся.

Поладили о цене и о торфе, что школа привезет.

Я только потом узнал, что год за годом, многие годы, ниоткуда не зарабатывала Матрена Васильевна ни рубля. Потому что пенсии ей не платили. Родные ей помогали мало. А в колхозе она работала не за деньги — за палочки. За палочки трудодней в замусленной книжке.

Так и поселился я у Матрены Васильевны. Комнаты мы не делили. Ее кровать была в дверном углу у печки, а я свою раскладушку развернул у окна и, оттесняя от света любимые Матренины фикусы, еще у одного окна поставил столик. Электричество же в деревне было — его еще в двадцатые годы подтянули от Шатуры. В газетах писали тогда «лампочки Ильича», и мужики, глаза тараща, говорили: «Царь Огонь!»

Может, кому из деревни, кто побогаче, изба Матрены и не казалась доброжилой, нам же с ней в ту осень и зиму вполне была хороша: от дождей она еще не протекала и ветрами студенными выдувало из нее печное грево не сразу, лишь под утро, особенно тогда, когда дул ветер с прохуdivшейся стороны.

Кроме Матрены и меня, жили в избе еще — кошка, мыши и тараканы.

Кошка была немолода, а главное — колченога. Она из жалости была Матреной подобрана и прижилась. Хотя она и ходила на четырех ногах, но сильно прихрамывала: одну ногу она берегла, больная была нога. Когда кошка прыгала с печи на пол, звук касания ее о пол не был кошачье-мягок, как у всех, а — сильный одновременный удар трех ног: туп! — такой сильный удар, что я не сразу привык, вздрагивал. Это она три ноги подставляла разом, чтоб уберечь четвертую.

Но не потому были мыши в избе, что колченогая кошка с ними не справлялась: она как молния за ними прыгала в угол и выносила в зубах. А недоступны были мыши для кошки из-за того, что кто-то когда-то, еще по хорошей жизни, оклеил Матренину избу рифлеными зеленоватыми обоями, да не просто в слой, а в пять слоев. Друг с другом обои склеились хорошо, от стены же во многих местах отстали — и получилась как бы внутренняя шкура на избе. Между бревнами избы и обойной шкурой мыши и проделали себе ходы и нагло шуршали, бегая по ним даже и под потолком. Кошка сердито смотрела вслед их шуршанью, а достать не могла.

Иногда ела кошка и тараканов, но от них ей становилось нехорошо. Единственное, что тараканы уважали, это черту перегородки, отделявшей устье русской печи и кухоньку от чистой избы. В чистую избу они не переползали. Зато в кухоньке по ночам кишели, и если поздно вечером, зайдя испить воды, я зажигал там лампочку — пол весь, и скамья большая, и даже стена были чуть не сплошь бурыми и шевелились. Приносил я из химического кабинета буры, и, смешивая с тестом, мы их тра-

вили. Тараканов менело, но Матрена боялась отравить вместе с ними и кошку. Мы прекращали подсыпку яда, и тараканы плодились вновь.

По ночам, когда Матрена уже спала, а я занимался за столом,— редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далекий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой. Но я свыкся с ним, ибо в нем не было ничего злого, в нем не было лжи. Шуршанье их — была их жизнь.

И с грубой плакатной красавицей я свыкся, которая со стены постоянно протягивала мне Белинского, Панферова и еще стопу каких-то книг, но — молчала. Я со всем свыкся, что было в избе Матрены.

Матрена вставала в четыре-пять утра. Ходикам Матрениным было двадцать семь лет, как куплены в сельпо. Всегда они шли вперед, и Матрена не беспокоилась — лишь бы не отставали, чтоб утром не запоздниться. Она включала лампочку за кухонной перегородкой и тихо, вежливо, стараясь не шуметь, топила русскую печь, ходила доить козу (все животы ее были — одна эта грязно-белая криворогая коза), по воду ходила и варила в трех чугунах: один чугунок — мне, один — себе, один — козе. Козе она выбирала из подполья самую мелкую картошку, себе — мелкую, а мне — с куриное яйцо. Крупной же картошки огород ее песчаный, с довоенных лет не удобренный и всегда засаживаемый картошкой, картошкой и картошкой, — крупной не давал.

Мне почти не слышались ее утренние хлопоты. Я спал долго, просыпался на позднем зимнем свету и потягивался, высовывая голову из-под одеяла и тулупа. Они да еще лагерная телогрейка на ногах, а снизу мешок, набитый соломой, хранили мне тепло даже в те ночи, когда стужа толкалась с севера в наши хилые оконца. Услышав за перегородкой сдержанный шумок, я всякий раз размеренно говорил:

— Доброе утро, Матрена Васильевна!

И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались мне из-за перегородки. Они начинались каким-то низким теплым мурчанием, как у бабушек в сказках:

— М-м-мм... также и вам!

И немного погодя:

— А завтрак вам приспе-ел.

Что на завтрак, она не объявляла, да это и догадаться было легко: карто́вь необлупленная, или суп карто́нный (так выговаривали все в деревне), или каша ячневая (другой крупы в тот год нельзя было купить в Торфопроducte, да и ячневую-то с бою — как самой дешевой ею откармливали свиней и мешками брали). Не всегда это было посолено, как надо, часто пригорало, а после еды оставляло налет на нёбе, деснах и вызывало изжогу.

Но не Матрены в том была вина: не было в Торфопроducte и масла, маргарин нарасхват, а свободно только жир комбинированный. Да и русская печь, как я пригляделся, неудобна для стряпни: варка идет скрыто от стряпухи, жар к чугунку подступает с разных сторон неравномерно. Но потому, должно быть, пришла она к нашим предкам из самого каменного века, что, протопленная раз на досветьи, весь день хранит в себе теплыми корм и пойло для скота, пищу и воду для человека. И спать тепло.

Я покорно съедал все наваренное мне, терпеливо откладывал в сторону, если попадалось что неурядное: волос ли, горфа кусочек, тараканья ножка. У меня не хватало духу упрекнуть Матрену. В конце концов она сама же меня предупреждала: «Не уменши, не варёмши — как утрафишь?»

— Спасибо, — вполне искренне говорил я.

— На чем? На своем на добром? — обезоруживала она меня луче-

зарной улыбкой. И, простодушно глядя блекло-голубыми глазами, спрашивала: — Ну, а к ужоткому что вам приготовить?

К ужоткому значило — к вечеру. Ел я дважды в сутки, как на фронте. Что мог я заказать к ужоткому? Все из того же, картошь или суп картонный.

Я мирился с этим, потому что жизнь научила меня не в еде находить смысл повседневного существования. Мне дороже была эта улыбка ее круглового лица, которую, заработав наконец на фотоаппарат, я тщетно пытался уловить. Увидев на себе холодный глаз объектива, Матрена принимала выражение или натянутое, или повышенно-суровое.

Раз только запечатлел я, как она улыбалась чему-то, глядя в окошко на улицу.

В ту осень много было у Матрены обид. Надоумили ее соседки добиваться пенсии. Была она одинокая кругом, а с тех пор, как стала сильно болеть — и из колхоза ее отпустили. Наворочено было много несправедливостей с Матреной: она была больна, но не считалась инвалидом; она четверть века проработала в колхозе, но потому что не на заводе — не полагалось ей пенсии за себя, а добиваться можно было только за мужа, то есть за утерю кормильца. Но мужа не было уже двенадцать лет, с начала войны, и нелегко было теперь добыть те справки с разных мест о его стаже и сколько он там получал. Хлопоты были — добыть эти справки; и чтоб написали все же, что получал он в месяц хоть рублей триста; и справку заверить, что живет она одна и никто ей не помогает; и с года она какого; и потом все это носить в собес; и перенашивать, исправляя, что сделано не так; и еще носить. И узнавать — дадут ли пенсию.

Хлопоты эти были тем затруднены, что собес от Тальнова был в двадцати километрах к востоку, сельский совет — в десяти километрах к западу, а поселковый — к северу, час ходьбы. Из канцелярии в канцелярию и гоняли ее два месяца — то за точкой, то за запятой. Каждая проходка — день. Сходит в сельсовет, а секретаря сегодня нет, просто так вот нет, как это бывает в селах. Завтра, значит, опять иди. Теперь секретарь есть, да печати у него нет. Третий день опять иди. А четвертый день иди потому, что сослепу они не на той бумажке расписались, бумажки-то все у Матрены одной пачкой сколоты.

— Притесняют меня, Игнатич,— жаловалась она мне после таких бесплодных проходов.— Иззаботилась я.

Но лоб ее недолго оставался омраченным. Я заметил: у нее было верное средство вернуть себе доброе расположение духа — работа. Тотчас же она или хваталась за лопату и копала картошь. Или с мешком под мышкой шла за торфом. А то с плетеным кузовом — по ягоды в дальний лес. И не столам конторским кланяясь, а лесным кустам, да наломавши спину ношей, в избу возвращалась Матрена уже просветленная, всем довольная, со своей доброй улыбкой.

— Теперича я зуб наложила, Игнатич, знаю, где брать,— говорила она о торфе.— Ну и местечко, люботá одна!

— Да Матрена Васильевна, разве моего торфа не хватит? Машина целая.

— Фу-у! твоего торфу! Еще столько, да еще столько — тогда, бывает, хватит. Тут как зима закрутит, да дуэль в окна, так не только топишь, сколько выдувает. Летось мы торфу натаскивали сколища! Я ли бы и теперь три машины не натаскала? Так вот ловят. Уж одну бабу нашу по судам тягают.

Да, это было так. Уже закруживалось пугающее дыхание зимы. Стояли вокруг леса, а топки взять было негде. Рычали кругом экскаваторы на болотах, но не продавалось и торфу жителям, а только везли —

начальству, да кто при начальстве, да по машине — учителям, врачам, рабочим завода. Тальновским топлива не было положено — и спрашивать о нем не полагалось. Председатель колхоза ходил по деревне, смотрел в глаза требовательно или простодушно и о чем угодно говорил, кроме топлива. Потому что сам он запаса. А зимы не ожидалось.

Что ж, воровали раньше лес у барина, теперь тянули торф у треста. Бабы собирались по пять, по десять, чтобы смелей. Ходили днем. За лето накопано было торфу повсюду и сложено штабелями для просушки. Этим и хорош торф, что, добыв, его не могут увезти сразу. Он сохнет до осени, а то и до снега, если дорога не станет. За это-то время бабы его и брали. Зараз уносили в мешке торфин шесть, если были сыроваты, торфин десять, если сухие. Одного мешка такого, принесенного иногда километра за три (и весил он пуда два), хватало на одну протопку. А дней в зиме двести. А топить надо: утром русскую, вечером «голландку».

— Да чего говорить обáпол! — сердилась Матрена на кого-то невидимого. — Как лошадей не стало, так чего на себе не припрешь, того и в дому нет. Спина у меня никогда не заживает. Зимой салазки на себе, летом вязанки на себе, ей-богу правда!

Ходили бабы в день — не по разу. В хорошие дни Матрена приносила по шесть мешков. Мой торф она сложила открыто, свой прятала под мостами, и каждый вечер забивала лаз доской.

— Разве уж догадаются, враги, — улыбалась она, вытирая пот со лба, — а то ни в жисть не найдут.

Что было делать тресту? Ему не отпускалось штатов, чтобы расставлять караульщики по всем болотам. Приходилось, наверно, показав обильную добычу в сводках, затем списывать — на крошку, на дожди. Иногда, порывами, собирали патруль и ловили баб у входа в деревню. Бабы бросали мешки и разбегались. Иногда, по доносу, ходили по домам с обыском, составляли протокол на незаконный торф и грозились передать в суд. Бабы на время бросали носить, но зима надвигалась и снова гнала их — с санками по ночам.

Вообще, приглядываясь к Матрене, я замечал, что, помимо стряпни и хозяйства, на каждый день у нее приходилось и какое-нибудь другое немалое дело, закономерный порядок этих дел она держала в голове и, проснувшись поутру, всегда знала, чем сегодня день ее будет занят. Кроме торфа, кроме сбора старых пеньков, вывороченных трактором на болоте, кроме брусники, намачиваемой на зиму в четвертях («Поточи зубки, Игнатич», — угощала меня). кроме копки картошки, кроме беготни по пенсионному делу, она должна была еще где-то раздобывать сенца для единственной своей грязно-белой козы.

— А почему вы коровы не держите, Матрена Васильевна?

— Э-эх, Игнатич, — разъясняла Матрена, стоя в нечистом фартуке в кухонном дверном вырезе и оборотясь к моему столу. — Мне молока и от козы хватит. А корову заведи, так она меня самою с ногами съест. У полотна не скоси — там свои хозяева, и в лесу косить нету — лесничество хозяин, и в колхозе мне не велят — не колхозница, мол, теперь. Да они и колхозницы до самых белых мух всё в колхоз, а себе уж из-под снега — что за трава?.. По-бывалошному кипели с сеном в межень. с Петрова до Ильина. Считалась трава — медовая...

Так, одной утельной козе собрать было сена для Матрены — труд великий. Брала она с утра мешок и серп и уходила в места, которые помнила, где трава росла по обмежкам, по задороге, по островкам среди болота. Набив мешок свежей тяжелой травой, она тащила ее домой и во двореке у себя раскладывала пластом. С мешка травы получалось подсохшего сена — навильник.

Председатель новый, недавний, присланный из города, первым делом обрезал всем инвалидам огороды. Пятнадцать соток песочка оставил Матрене, а десять соток так и пустовало за забором. Впрочем, когда рук не хватало, когда отнекивались бабы уж очень упорно, жена председателя приходила к Матрене. Она была тоже женщина городская, решительная, коротким серым полупальто и грозным взглядом как бы военная.

Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрену. Матрена мешалась.

— Та-ак,— раздельно говорила жена председателя.— Товарищ Григорьева! Надо будет помочь колхозу! Надо будет завтра ехать навоз вывозить!

Лицо Матрены складывалось в извиняющую полуулыбку — как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу.

— Ну что ж,— тянула она.— Я больна, конечно. И к делу вашему теперь не присоединена.— И тут же спешно исправлялась: — Какому часу приходиться-то?

— И вилы свои бери! — наставляла председательша и уходила, шурша твердой юбкой.

— Во как! — пеняла Матрена вслед.— И вилы свои бери! Ни лопат, ни вил в колхозе нету. А я без мужика живу, кто мне насадит?..

И размышляла потом весь вечер:

— Да что говорить, Игнатич! Помочь надо, конечно,— без навоза им какой урожай? А только ни к столбу, ни к перилу у них работа: станут бабы, об лопаты опершись, и ждут, скоро ли с фабрики гудок на двенадцать. Да еще заведутся счеты своят. кто вышел, кто не вышел. По мне работать — так чтоб звуку не было, только ой-ой-ойиньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил.

Поутру она уходила со своими вилами.

Но не колхоз только, а любая родственница дальняя или просто соседка приходила тоже к Матрене с вечера и говорила:

— Завтра, Матрена, придешь мне пособить. Картошку будем докапывать.

И Матрена не могла отказать. Она покидала свой черед дел, шла помогать соседке и, воротясь, еще говорила без тени зависти:

— Ах, Игнатич, и крупная ж картошка у нее! В охотку копала, уходить с участка не хотелось, ей-богу правда!

Тем более не обходилась без Матрены ни одна пахота огорода. Гальновские бабы установили доточно, что одной вскопать свой огород лопатой тяжеле и дольше, чем, взяв соху и вшестером впрягшись, вспахать на себе шесть огородов. На то и звали Матрену в помощь.

— Что ж, платили вы ей? — приходилось мне потом спрашивать.

— Не берет она денег. Уж поневоле ей вопрятаешь.

Еще суета большая выпадала Матрене, когда подходила ее очередь кормить козых пастухов: одного — здоровенного, нем оглухого, и второго — мальчишку с постоянной слюнявой сигаркой в зубах. Очередь эта была в полтора месяца раз, но вгоняла Матрену в большой расход. Она шла в сельпо, покупала рыбные консервы, расстарывалась и сахару и масла, чего не ела сама. Оказывается, хозяйки выкладывались друг перед другом, стараясь накормить пастухов лучше.

— Бойся портного да пастуха,— объясняла она мне.— По всей деревне тебя ославят, если что им не так.

И в эту жизнь, густую заботами, еще врывалась временами тяжелая немочь, Матрена валилась и сутки-двое лежала пластом. Она не жаловалась, не стонала, но и не шевелилась почти. В такие дни Маша, близ-

кая подруга Матрены с самых молодых годков, приходила обихаживать козу да топить печь. Сама Матрена не пила, не ела и не просила ничего. Вызвать на дом врача из поселкового медпункта было в Тальнове вдиво, как-то неприлично перед соседями — мол, барыня. Вызывали однажды, та приехала злая очень, велела Матрене, как отлежится, приходите на медпункт самой. Матрена ходила против воли, брали анализы, посылали в районную больницу — да так и заглохло. Была тут вина и Матрены самой.

Дела звали к жизни. Скоро Матрена начинала вставать, сперва двигалась медленно, а потом опять живо.

— Это ты меня прежде не видал, Игнатич,— оправдывалась она.— Все мешки мои были, по пять пудов тижелью не считала. Свекор кричал: «Матрена! Спину сломаешь!» Ко мне дивирь не подходил, чтоб мой конец бревна на передок подсадить. Конь был военный у нас Волчок, здоровый...

— А почему военный?

— А нашего на войну забрали, этого подраненного — взамен. А он стиховой какой-то попался. Раз с испугу сани понес в озеро, мужики отскакивали, а я, правда, за узду схватила, остановила. Овсяной был конь. У нас мужики любили лошадей кормить. Которые кони овсяные, те и тижели не признают.

Но отнюдь не была Матрена бесстрашной. Боялась она пожара, боялась молоньи, а больше всего почему-то — поезда.

— Как мне в Черусти ехать, с Нечаевки поезд вылезет, глаза здоровенные свои вылупит, рельсы гудят — аж в жар меня бросает, колени трясутся. Ей-богу правда! — сама удивлялась и пожимала плечами Матрена.

— Так, может, потому, что билетов не дают, Матрена Васильевна?

— В окошечко? Только мягкие суют. А уж поезд — трогацать! Мечемся туда-сюда: да взойдите ж в сознание! Мужики — те по лесенке на крышу полезли. А мы нашли дверь незапертую, вперлись прям так, без билетов — а вагоны-то все простые идут, все простые, хоть на полке растягивайся. Отчего билетов не давали, паразиты несочувственные,— не знато...

Все же к той зиме жизнь Матрены наладилась как никогда. Стали-таки платить ей рублей восемьдесят пенсии. Еще сто с лишком получала она от школы и от меня.

— Фу-у! Теперь Матрене и умирать не надо! — уже начинали завидовать некоторые из соседок.— Больше денег ей, старой, и девать некуда.

Заказала себе Матрена скатать новые валенки. Купила новую телогрейку. И справила пальто из ношеной железнодорожной шинели, которую подарил ей машинист из Черустей, муж ее бывшей воспитанницы Киры. Деревенский портной-горбун подложил под сукно ваты, и такое славное пальто получилось, какого за шесть десятков лет Матрена не нашивала.

И в середине зимы зашила Матрена в подкладку этого пальто двести рублей себе на похороны. Повеселела:

— Маненько и я спокой увидала, Игнатич.

Прошел декабрь, прошел январь — за два месяца не посетила ее болезнь. Чаше Матрена по вечерам стала ходить к Маше посидеть, семечки пощелкать. К себе она гостей по вечерам не звала, уважая мои занятия. Только на крещение, воротясь из школы, я застал в избе пляску и познакомлен был с тремя Матрениными родными сестрами, звавшими Матрену как старшую — лёлька или нянька. До этого дня мало было

в нашей избе слышно о сестрах — то ли опасались они, что Матрена будет просить у них помощи?

Одно только событие или предзнаменование омрачило Матрене этот праздник: ходила она за пять верст в церковь на водосвятие, поставила свой котелок меж других, а когда водосвятие кончилось и бросились бабы, толкаясь, разбирать — Матрена не поспела среди первых, а в конце — не оказалось ее котелка. И взамен котелка никакой другой посуды тоже оставлено не было. Исчез котелок, как дух нечистый его унес.

— Бабоньки! — ходила Матрена среди молящихся. — Не прихватил ли кто неуладной чужую воду освященную? в котелке?

Не признался никто. Бывает, мальчишки созоровали, были там и мальчишки. Вернулась Матрена печальная.

Не сказать, однако, чтобы Матрена верила как-то истово. Даже скорей была она язычница, брали в ней верх суеверия: что на Ивана Постного в огород зайти нельзя — на будущий год урожая не будет; что если метель крутит — значит, кто-то где-то удавился, а дверью ногу прищемишь — быть гостю. Сколько жил я у нее — никогда не видал ее молящейся, ни чтоб она хоть раз перекрестилась. А дело всякое начинала «с богом!» и мне всякий раз «с богом!» норовила сказать, когда я шел в школу. Может быть, она и молилась, но не показно, стесняясь меня или боясь меня притеснить. Висели в избе иконы. Забудни стояли они темные, а во время всеошной и с утра по праздникам зажигала Матрена лампадку.

Только грехов у нее было меньше, чем у ее колченогой кошки. Та — мышей душила...

Немного выдравшись из колотной своей житёнки, стала Матрена повнимательней слушать и мое радио (я не преминул поставить себе разведку — так Матрена называла розетку).

Услышав от радио, что машины изобретены новые, ворчала Матрена из кухни:

— Все новые, новые, на старых работать не хотят, куда старые складывать будем?

Передавали, как облака разгоняют с самолетов, — Матрена качала головой с печи:

— Ой-ой-ойиньки, чего-нибудь изменят, зиму или лето.

Исполнял Шаляпин русские песни. Матрена стояла-стояла, слушала и приговорила решительно:

— Чудно поют, не по-нашему.

— Да что вы, Матрена Васильевна, да прислушайтесь!

Еще послушала. Сжала губы:

— Не. Не так. Ладу не нашего. И голосом балует.

Зато и вознаградила меня Матрена. Передавали как-то концерт из романсов Глинки. И вдруг после пятка камерных романсов Матрена, держась за фартук, вышла из-за перегородки растепленная, с пеленой слезы в неярких своих глазах:

— А вот это — по-нашему... — прошептала она.

2

Так привыкли Матрена ко мне, а я к ней, и жили мы запросто. Она не досаждала мне никакими расспросами. До того отсутствовало в ней бабье любопытство или до того она была деликатна, что не спросила меня ни разу: был ли я когда женат? Все тальновские бабы приставали к ней — узнать обо мне. Она им отвечала:

— Вам нужно — вы и спрашивайте. Знаю одно — дальний он.

И когда невскоре я сам сказал ей, что много провел в тюрьме, она только молча покивала головой, как бы подозревала и раньше.

А я тоже видел Матрену сегодняшнюю, потерянную старуху, и тоже не бередил ее прошлого, да и не подозревал, чтоб там было что искать.

Знал я, что замуж Матрена вышла еще до революции, и сразу в эту избу, где мы жили теперь с ней, и сразу к печке (то есть не было в живых ни свекрови, ни незамужней старшей золовки, и с первого послебрачного утра Матрена взялась за ухват). Знал, что детей у нее было шестеро и один за другим умирали все очень рано, так что двое сразу не жило. Потом была какая-то воспитанница Кира. А муж Матрены не вернулся с этой войны. Похоронного тоже не было. Односельчане, кто был с ним в роте, говорили, что либо в плен он попал, либо погиб, а только тела не нашли. За восемь послевоенных лет решила и Матрена сама, что он не жив. И хорошо, что думала так. Хоть и был бы теперь он жив — так женат где-нибудь в Бразилии или в Австралии. И деревня Тальново, и язык русский изглаживались бы из памяти его...

Раз, придя из школы, я застал в нашей избе гостя. Высокий черный старик, сняв на колени шапку, сидел на стуле, который Матрена выставила ему на середину комнаты, к печке-«голландке». Все лицо его облегал густые черные волосы, почти не тронутые сединой: с черной окладистой бородой сливались усы густые, черные, так что рот был виден едва; и непрерывные бакены черные, едва выказывая уши, поднимались к черным космам, свисавшим с темени; и еще широкие черные брови мостами были брошены друг другу навстречу. И только лоб уходил лысым куполом в лысую просторную маковку. Во всем облике старика показалось мне многознание и достоинство. Он сидел ровно, сложив руки на посохе, посох же отвесно уперев в пол, — сидел в положении терпеливого ожидания и, видно, мало разговаривал с Матреной, возившейся за перегородкой.

Когда я пришел, он плавно повернул ко мне величавую голову и назвал меня внезапно:

— Батюшка!.. Вижу вас плохо. Сын мой учится у вас. Григорьев Антошка...

Дальше мог бы он и не говорить... При всем моем порыве помочь этому почтенному старику, заранее знал я и отвергал все то бесполезное, что скажет старик сейчас. Григорьев Антошка был круглый румяный малец из 8-го «Г», выглядевший, как кот после блинов. В школу он приходил как бы отдохнуть, за партой сидел и улыбался лениво. Уж тем более он никогда не готовил уроков дома. Но, главное, борясь за тот высокий процент успеваемости, которым славилась школы нашего района, нашей области и соседних областей, — из году в год его переводили, и он ясно усвоил, что, как бы учителя ни грозились, все равно в конце года переведут, и не надо для этого учиться. Он просто смеялся над нами. Он сидел в 8-м классе, однако не владел дробями и не различал, какие бывают треугольники. По первым четвертям он был в цепкой хватке моих двоек — и то же ожидало его в третьей четверти.

Но этому полуслепому старику, годному Антошке не в отцы, а в деды и пришедшему ко мне на униженный поклон, — как было сказать теперь, что год за годом школа его обманывала, дальше же обманывать я не могу, иначе развалю весь класс, и превращусь в балаболку, и наплевать должен буду на весь свой труд и звание свое?

И теперь я терпеливо объяснял ему, что запущено у сына очень, и он в школе и дома лжет, надо дневник проверять у него почаще и круто братья с двух сторон.

— Да уж куда крутей, батюшка, — заверил меня гость. — Бью его теперь, что неделя. А рука тяжелая у меня.

В разговоре я вспомнил, что уж один раз и Матрена сама почему-то

ходатайствовала за Антошку Григорьева, но я не спросил, что за родственник он ей, и тоже тогда отказал. Матрена и сейчас стала в дверях кухоньки бессловесной просительницей. И когда Фаддей Миронович ушел от меня с тем, что будет заходить — узнавать, я спросил:

— Не пойму, Матрена Васильевна, как же этот Антошка вам приходится?

— Дивиря моего сын,— ответила Матрена суховато и ушла доить козу.

Разочтя, я понял, что черный настойчивый этот старик — родной брат мужа ее, без вести пропавшего.

И долгий вечер прошел — Матрена не касалась больше этого разговора. Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и работал в тишине избы под шорох тараканов и постук ходиков,— Матрена вдруг из темного своего угла сказала:

— Я, Игнатич, когда-то за него чуть замуж не вышла.

Я и о Матрене-то самой забыл, что она здесь, не слышал ее,— но так взволнованно она это сказала из темноты, будто и сейчас еще тот старик домогался ее.

Видно, весь вечер Матрена только об том и думала.

Она поднялась с убогой тряпичной кровати и медленно выходила ко мне, как бы идя за своими словами. Я откинулся — и в первый раз совсем по-новому увидел Матрену.

Верхнего света не было в нашей большой комнате, как лесом заставленной фикусами. От настольной же лампы свет падал кругом только на мои тетради,— а по всей комнате глазам, оторвавшимся от света, казался полумрак с розовинкой. И из него выступала Матрена. И щеки ее померещились мне не желтыми, как всегда, а тоже с розовинкой.

— Он за меня первый сватался... раньше Ефима... Он был брат — старший... Мне было девятнадцать, Фаддею — двадцать три... Вот в этом самом доме они тогда жили. Ихний был дом. Ихним отцом строенный.

Я невольно оглянулся. Этот старый серый изгнивающий дом вдруг сквозь блекло-зеленую шкуру обоев, под которыми бегали мыши, проступил мне молодыми, еще не потемневшими тогда, стругаными бревнами и веселым смолистым запахом.

— И вы его...? И что же?..

— В то лето... ходили мы с ним в рощу сидеть,— прошептала она.— Тут роща была, где теперь конный двор, вырубил ее... Без малого не вышла, Игнатич. Война германская началась. Взяли Фаддея на войну.

Она уронила это — и вспыхнул передо мной голубой, белый и желтый июль четырнадцатого года: еще мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом: смоляного богатыря с косой через спину; ее, румяную, обнявшую сноп. И — песню, песню под небом, каких теперь, при механизмах, не споешь.

— Пошел он на войну — пропал... Три года затаилась я, ждала. И ни весточки, и ни косточки...

Обвязанное старческим слинявшим платочком смотрело на меня в не прямых мягких отсветах лампы круглое лицо Матрены — как будто освобожденное от морщин, от будничного небрежного наряда — испуганное, девичье, перед страшным выбором.

Да. Да... Понимаю... Облетали листья, падал снег — и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облегал листья, и опять падал снег. И одна революция. И другая революция. И весь свет перевернулся.

— Мать у них умерла — и присватался ко мне Ефим. Мол, в нашу избу ты идти хотела, в нашу и иди. Был Ефим моложе меня на год.

Говорят у нас: умная выходит после Покровá, а дура — после Петровá. Рук у них не хватало. Пошла я... На Петров день повенчались, а к Миколу зимнему — вернулся... Фаддей... из венгерского плена.

Матрена закрыла глаза.

Я молчал.

Она обернулась к двери, как к живой:

— Стал на пороге. Я как закричу! В колена б ему бросилась!.. Нельзя... Ну, говорит, если б то не брат мой родной — я бы вас порубал обоих!

Я вздрогнул. От ее надрыва или страха я живо представил, как он стоит там, черный, в темных дверях и топором замахнулся на Матрену.

Но она успокоилась, оперлась о спинку стула перед собой и певуче рассказывала:

— Ой-ой-ойиньки, головушка бедная! Сколько невест было на деревне — не женился. Сказал: буду имечко твое искать, вторую Матрену. И привел-таки себе из Липовки Матрену, срубили избу отдельную, где и сейчас живут, ты каждый день мимо их в школу ходишь.

Ах, вот оно что! Теперь я понял, что видел ту вторую Матрену не раз. Не любил я ее: всегда приходила она к моей Матрене жаловаться, что муж ее бьет, и скаред муж, жилы из нее вытягивает, и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда у нее был на слезе.

Но выходило, что не о чем моей Матрене жалеть — так бил Фаддей свою Матрену всю жизнь и по сей день и так зажал весь дом.

— Меня с а м ни разику не бил, — рассказывала она о Ефиме. — По улице на мужиков с кулаками бегал, а меня — ни разику... То есть был-таки раз — я с золовкой поссорилась, он ложку мне об лоб расшибил. Вскочила я от стола: «Захлентуься бы вам, подавиться, трутни!» И в лес ушла. Больше не трогал.

Кажется, и Фаддею не о чем было жалеть: родила ему вторая Матрена тоже шестерых детей (среди них и Антошка мой, самый младший, поскребыш) — и выжили все, а у Матрены с Ефимом дети не стояли: до трех месяцев не доживая и не болея ничем, умирал каждый.

— Одна дочка, Елена, только родилась, помыли ее живую — тут она и померла. Так мертвую уж обмывать не пришлось... Как свадьба моя была в Петров день, так и шестого ребенка, Александра, в Петров день схоронила.

И решила вся деревня, что в Матрене — порча.

— Пор ц и я во мне! — убежденно кивала и сейчас Матрена. — Возили меня к монашенке одной бывшей лечиться, она меня на кашель наводила — ждала, что пор ц и я из меня лягушкой выбросится. Ну, не выбросилась...

И шли года, как плыла вода... В сорок первом не взяли на войну Фаддея из-за слепоты, зато Ефима взяли. И как старший брат в первую войну, так младший без вести исчез во вторую. Но этот вовсе не вернулся. Гнила и старела когда-то шумная, а теперь пустынная изба — и старела в ней беспритульная Матрена.

И попросила она у той второй забитой Матрены — чрева ее урывочек (или кровиночку Фаддея?) — младшую их девочку Киру.

Десять лет она воспитывала ее здесь как родную, вместо своих невыстоявших. И незадолго до меня выдала за молодого машиниста в Черусти. Только оттуда ей теперь и помощь сочилась: иногда сахарку, когда поросенка зарежут — сальца.

Страдая от недугов и чая недалекую смерть, тогда же объявила Матрена свою волю: отдельный сруб горницы, расположенный под общей связью с избою, после смерти ее отдать в наследство Кире. О самой избе она ничего не сказала. Еще три сестры ее метили получить эту избу.

Так в тот вечер открылась мне Матрена сполна. И, как это бывает, связь и смысл ее жизни, едва став мне видимыми,— в тех же днях пришли и в движение. Из Черустей приехала Кира, забеспокоился старик Фаддей: в Черустях, чтобы получить и удержать участок земли, надо было молодым поставить какое-нибудь строение. Шла для этого вполне Матренина горница. А другого нечего было и поставить, неоткуда лесу взять. И не так сама Кира, и не так муж ее, как за них старый Фаддей загорелся захватить этот участок в Черустях.

И вот он зачастил к нам, пришел раз, еще раз, наставительно говорил с Матреной и требовал, чтоб она отдала горницу геперь же, при жизни. В эти приходы он не показался мне тем опирающимся о посох старцем, который вот развалится от толчка или грубого слова. Хоть и пригорбленный больною поясницей, но все еще статный, старше шестидесяти сохранивший сочную, молодую черноту в волосах, он наседавал с горячностью.

Не спала Матрена две ночи. Нелегко ей было решиться. Не жалко было саму горницу, стоявшую без дела, как вообще ни труда, ни добра своего не жалела Матрена никогда. И горница эта все равно была завещана Кире. Но жутко ей было начать ломать гу крышу, под которой прожила сорок лет. Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать бревна дома. А для Матрены было это — конец ее жизни всей.

Но те, кто настаивал, знали, что ее дом можно сломать и при жизни.

И Фаддей с сыновьями и зятьями пришли как-то февральским утром и застучали в пять топоров, завизжали и заскрипели отрываемыми досками. Глаза самого Фаддея деловито поблескивали. Несмотря на то, что спина его не распрямлялась вся, он ловко лазил и под стропила и живо суетился внизу, покрывая на помощников. Эту избу он парнишкой сам и строил когда-то с отцом; эту горницу для него, старшего сына, и рубили, чтоб он поселился здесь с молодой. А теперь он яро разбирал ее по ребрышкам, чтоб увезти с чужого двора.

Переметив номерами венцы сруба и доски потолочного настила, горницу с подклетью разобрали, а избу саму с укороченными мостами отсекли временной тесовой стеночкой. В стенке они покинули щели, и все показывало, что ломатели — не строители и не предполагают, чтобы Матрене еще долго пришлось здесь жить.

А пока мужчины ломали, женщины готовили ко дню погрузки самогон: водка обошлась бы чересчур дорого. Кира привезла из Московской области пуд сахара, Матрена Васильевна под покровом ночи носила тот сахар и бутылки самогонщику.

Вынесены и соштабелеваны были бревна перед воротами, зять-машинист уехал в Черусти за трактором.

Но в тот же день началась метель — дуэль, по-матрениному. Она кутила и кружила двое суток и замела дорогу непомерными сугробами. Потом, чуть дорогу умяли, прошел грузовик-другой — внезапно потеплело, в один день разом распустило, стали сырые туманы, журчали ручьи, прорывшиеся в снегу, и нога в сапоге увязала по все голенище.

Две недели не давалась трактору разломанная горница! Эти две недели Матрена ходила как потерянная. Оттого особенно ей было тяжело, что пришли три сестры ее, все дружно обругали ее дурой за то, что горницу отдала, сказали, что видеть ее больше не хотят, — и ушли.

И в те же дни кошка колченогая сбрела со двора — и пропала. Одно к одному. Еще и это пришибло Матрену.

Наконец стаявшую дорогу прихватило морозом. Наступил солнечный день, и повеселело на душе. Матрене что-то доброе приснилось под тот день. С утра узнала она, что я хочу сфотографировать кого-нибудь за

старинным ткацким станом (такие еще стояли в двух избах, на них ткали грубые половики), — и усмехнулась застенчиво:

— Да уж погоди, Игнатич, пару дней, вот горницу, бывает, отправлю — сложу свой стан, ведь цел у меня — и снимешь тогда. Ей-богу правда!

Видно, привлекало ее изобразить себя в старине. От красного морозного солнца чуть розовым залилось замороженное окошко сеней, теперь укороченных, — и грел этот отсвет лицо Матрены. У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей.

Перед сумерками, возвращаясь из школы, я увидел движение близ нашего дома. Большие новые тракторные сани были уже нагружены бревнами, но многое еще не поместилось — и семья деда Фаддея, и приглашенные помогать кончали сбивать еще одни, самодельные. Все работали, как безумные, в том ожесточении, какое бывает у людей, когда пахнет большими деньгами или ждут большого угощения. Кричали друг на друга, спорили.

Спор шел о том, как везти сани — порознь или вместе. Один сын Фаддея, хромой, и зять-машинист толковали, что сразу обои сани нельзя, трактор не утянет. Тракторист же, самоуверенный толстомордый здоровяга, хрипел, что ему видней, что он водитель и повезет сани вместе. Расчет его был ясен: по уговору машинист платил ему за перевоз горницы, а не за рейсы. Двух рейсов за ночь — по двадцать пять километров да один раз назад — он никак бы не сделал. А к утру ему надо было быть с трактором уже в гараже, откуда он увел его тайком для левой.

Старику Фаддею не терпелось сегодня же увезти всю горницу — и он кивнул своим уступить. Вторые, наспех сколоченные, сани подцепили за крепкими первыми.

Матрена бегала среди мужчин, суетилась и помогала накатывать бревна на сани. Тут заметил я, что она в моей телогрейке, уже измазала рукава о льдистую грязь бревен, — и с неудовольствием сказал ей об этом. Телогрейка эта была мне память, она грела меня в тяжелые годы.

Так я в первый раз рассердился на Матрену Васильевну.

— Ой-ой-ойиньки, головушка бедная! — озадачилась она. — Ведь я ее бегма подхватила, да и забыла, что твоя. Прости, Игнатич. — И сняла, повесила сушиться.

Погрузка кончилась, и все, кто работал, человек до десяти мужчин, прогремели мимо моего стола и нырнули под занавеску в кухоньку. Оттуда глуховато застучали стаканы, иногда звякала бутылка, голоса становились все громче, похвальба — задорнее. Особенно хвастался тракторист. Тяжелый запах самогона докатился до меня. Но пили недолго — темнота заставляла спешить. Стали выходить. Самодовольный, с жестоким лицом вышел тракторист. Сопровождать сани до Черустей шли зять-машинист, хромой сын Фаддея и еще племянник один. Остальные расходились по домам. Фаддей, размахивая палкой, догонял кого-то, спешил что-то втолковать. Хромой сын задержался у моего стола закурить и вдруг заговорил, как любит он тетку Матрену, и что женился недавно, и вот сын у него родился только что. Тут ему крикнули, он ушел. За окном зарычал трактор.

Последней торопливо выскочила из-за перегородки Матрена. Она тревожно качала головой вслед ушедшим. Надела телогрейку, накинула платок. В дверях сказала мне:

— И что было двух не срядить? Один бы трактор занемог — другой подтянул. А теперь чего будет — богу весты!..

И убежала за всеми.

После пьянки, споров и хождения стало особенно тихо в брошенной избе, выстуженной частым открыванием дверей. За окнами уже совсем стемнело. Я тоже влез в телогрейку и сел проверять тетради. Трактор стих в отдалении.

Прошел час, другой. И третий. Матрена не возвращалась, но я не удивлялся: проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше.

И еще прошел час. И еще. Не только тьма, но глубокая какая-то тишина опустилась на деревню. Я не мог тогда понять, отчего тишина — оттого, оказалось, что за весь вечер ни одного поезда не прошло по линии в полуверсте от нас. Радио мое молчало, и я заметил, что очень уж, как никогда, развозились мыши: все нахальней, все шумней они бегали под обоями, скребли и попискивали.

Я очнулся. Был первый час ночи, а Матрена не возвращалась.

Вдруг услышал я несколько громких голосов на деревне. Еще были они далеко, но как подтолкнуло меня, что это к нам. И правда, скоро резкий стук раздался в ворота. Чужой властный голос кричал, чтоб открыли. Я вышел с электрическим фонариком в густую темноту. Деревня вся спала, окна не светились, а снег за неделю притаял и тоже не отсвечивал. Я отвернул нижнюю заvertку и впустил. К избе прошли четверо в шинелях. Неприятно это очень, когда ночью приходят к тебе громко и в шинелях.

При свете огляделся я, однако, что у двоих шинели — железнодорожные. Старший, толстый, с таким же лицом, как у того тракториста, спросил:

— Где хозяйка?

— Не знаю.

— А трактор с санями из этого двора уезжал?

— Из этого.

— Они пили тут перед отъездом?

Все четверо шурились, оглядывались в полутьме от настольной лампы. Я так понял, что кого-то арестовали или хотели арестовать.

— Да что случилось?

— Отвечайте, что вас спрашивают!

— Но...

— Поехали пьяные?

— Они пили тут?

Убил ли кто кого? Или перевозить нельзя было горницы? Очень уж они на меня наседали. Но одно было ясно: что за самогонщину Матрене могут дать срок.

Я отступил к кухонной дверке и так перегородил ее собою.

— Право, не заметил. Не видно было.

(Мне и действительно не видно было, только слышно.)

И как бы растерянным жестом я провел рукой, показывая обстановку избы: мирный настольный свет над книгами и тетрадями; голпу испуганных фикусов; суровую койку отшельника. Никаких следов разгула.

Они уже и сами с досадой заметили, что никакой попойки здесь не было. И повернули к выходу, между собой говоря, что, значит, пьянка была не в этой избе, но хорошо бы прихватить, что была. Я провожал их и допытывался, что же случилось. И только в калитке мне буркнул один:

— Разворотило их всех. Не соберешь.

А другой добавил:

— Да это мелочь. Двадцать первый скорый чуть с рельс не сошел, вот было бы.

И они быстро ушли.

Ошеломленный, я вернулся в избу. Кого — их? Кого — всех? Матрена-то где?

Я отвел полог и прошел в кухню. Самогонный смрад ударил в меня. Это было застывшее побоище — сгруженных табуреток и скамьи, пустых лежащих бутылок и одной неоконченной, стаканов, недоеденной седьмой, лука и раскромсанного сала.

Все было мертво. И только тараканы спокойно ползали по полю битвы.

Что-то сказано было о двадцать первом скором. К чему?.. Может, надо было все это показать им? Я уже сомневался. Но что за манера проклятая — ничего не объяснить нечиновному человеку?

И вдруг скрипнула наша калитка. Я быстро вышел на мосты:

— Матрена Васильевна?

Дверь со двора открылась. Пошатываясь, сжимая руки, вошла ее подруга Маша:

— Матрена-то... Матрена-то наша, Игнатич..

Я усадил ее, и, мешая со слезами, она рассказала.

На переезде — горка, въезд крутой. Шлагбаума нет. С первыми санями трактор перевалил, а трос лопнул, и вторые сани, модельные, на переезде застряли и разваливаться начали — Фаддей для них лесу хорошего не дал, для вторых саней. Отвезли чуток первые — за вторыми вернулись, трос ладили — тракторист и сын Фаддея хромым, и туда же, меж трактором и санями, понесло и Матрену. Что она там подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела мешалась. И конь когда-то ее чуть в озеро не сшиб, под прорубь. И зачем на переезд проклятый пошла? — отдала горницу, и весь ее долг, рассчиталась.. Машинист все смотрел, чтобы с Черустей поезд не нагрязнул, его б фонари далеко видеть, а с другой стороны, от станции нашей, шли два паровоза сцепленных — без огней и задом. Почему без огней — неведомо, а когда паровоз задом идет — машинисту с тендера сыплет в глаза пылью угольной, смотреть плохо. Налетели — и в мясо тех троих расплющили, кто между трактором и санями. Трактор изувечили, сани в щепки, рельсы вздыбились, и паровоза оба набок.

— Да как же они не слышали, что паровозы подходят?

— Да трактор-то заведенный орет.

— А с трупами что?

— Не пускают. Оцепили.

— А что я про скорый слышал... будто скорый?..

— А скорый десятичасовой — нашу станцию с ходу, и тоже к переезду. Но как паровозы рухнули — машинисты два уцелели, спрыгнули и побежали назад, и руками махают, на рельсы ставши — и успели поезд остановить... Племянника тоже бревном покалечило. Прячется сейчас у Клавки, чтоб не знали, что он на переезде был. А то ведь затают свидетелем!.. Незнайка на печи лежит, а знайку на веревочке ведут... А муж Киркин — ни царапины. Хотел повеситься, из петли вынули. Из-за меня, мол, тетя погибла и брат. Сейчас пошел сам, арестовался. Да его теперь не в тюрьму, его в дом безумный. Ах, Матрена-Матренушка!..

Нет Матрены. Убит родной человек. И в день последний я укорил ее за телогрейку.

Разрисованная красно-желтая баба с книжного плаката радостно улыбалась.

Тетя Маша еще посидела, поплакала. И уже встала, чтоб идти. И вдруг спросила:

— Игнатич! Ты помнишь... вязаночка серая была у Матрены... Она ведь ее после смерти прочила Таньке моей, верно?

И с надеждой смотрела на меня в полутьме — неужели я забыл?

Но я помнил:

— Прочила, верно.

— Так слушай, может, разреши, я ее заберу сейчас? Утром тут родня налетит, мне уж потом не получить.

И опять с мольбой и надеждой смотрела на меня — ее полувековая подруга, единственная, кто искренне любил Матрену в этой деревне...

Наверно, так надо было.

— Конечно... Берите... — подтвердил я.

Она открыла сундучок, достала вязанку, сунула под полу и ушла...

Мышами овладело какое-то безумие, они ходили по стенам ходенём, и почти зримыми волнами перекатывались зеленые обои над мышинными спинами.

Утром ждала меня школа. Час ночи был третий. И выход был: запереться и лечь спать.

Запереться, потому что Матрена не придет.

Я лег, оставив свет. Мыши пищали, стонали почти, и все бегали, бегали. Уставшей бессвязной головой нельзя было отделаться от невольного трепета — как будто Матрена невидимо металась и прощалась тут, с избой своей.

И вдруг в притемке у входных дверей, на пороге, я вообразил себе черного молодого Фаддея с занесенным топором:

«Если б то не брат мой родной — порубал бы я вас обоих!»

Сорок лет пролежала его угроза в углу, как старый тесак, — а ударила-таки...

3

На рассвете женщины привезли с переезда на санках под накинутым грязным мешком — все, что осталось от Матрены. Скинули мешок, чтоб обмывать. Все было месиво — ни ног, ни половины туловища, ни левой руки. Одна женщина сказала:

— Ручку-то правую оставил ей господь. Там будет богу молиться...

И вот всю толпу фикусов, которых Матрена так любила, что, проснувшись когда-то ночью в дыму, не избу бросилась спасать, а валить фикусы на пол (не задохнулись бы от дыму), — фикусы вынесли из избы. Чисто вымели полы. Тусклое Матренино зеркало завесили широким полотенцем старой домашней вытоки. Сняли со стены праздные плакаты. Сдвинули мой стол. И к окнам, под образа, поставили на табуретках гроб, сколоченный без затей.

А в гробу лежала Матрена. Чистой простыней было покрыто ее отсутствующее изуродованное тело, и голова охвачена белым платком, — а лицо осталось целехонькое, спокойное, больше живое, чем мертвое.

Деревенские приходили постоять-посмотреть. Женщины приводили и маленьких детей взглянуть на мертвую. И если начинался плач, все женщины, хотя бы зашли они в избу из пустого любопытства, — все обязательно подплакивали от двери и от стен, как бы аккомпанировали хором. А мужчины стояли молча навтыжку, сняв шапки.

Самый же плач доставалось вести родственницам. В плаче заметил я холодно-продуманный, искони-заведенный порядок. Те, кто подале, подходили к гробу ненадолго и у самого гроба причитали негромко. Те, кто считал себя покойнице роднее, начинали плач еще с порога, а достигнув гроба, наклонялись голосить над самым лицом усопшей. Мелодия была самодельная у каждой плакальщицы. И свои собственные излагались мысли и чувства.

Тут узнал я, что плач над покойной не просто есть плач, а своего рода политика. Слетелись три сестры Матрены, захватили избу, козу и печь, заперли сундук ее на замок, из подкладки пальто выпотрошили

двести похоронных рублей, приходящим всем втолковывали, что они одни были Матрене близкие. И над гробом плакали так:

— Ах, нянька-нянька! Ах, лёлька-лёлька! И ты ж наша единственная! И жила бы ты тихо-мирно! И мы бы тебя всегда приласкали! А погубила тебя твоя горница! А доконала тебя, заклятая! И зачем ты ее ломала? И зачем ты нас не послушала?

Так плачи сестер были обвинительные плачи против мужниной родни: не надо было понуждать Матрену горницу ломать. (А подспудный смысл был: горницу-ту вы взять-взяли, избы же самой мы вам не дадим!)

Мужнина родня — Матренины золовки, сестры Ефима и Фаддея, и еще племянники разные приходили и плакали так:

— Ах, тётанька-тётанька! И как же ты себя не берегла! И, наверно, теперь о н и на нас обиделись! И родимая ж ты наша, и вина вся твоя! И горница тут ни при чем. И зачем же пошла ты туда, где смерть тебя стерегла? И никто тебя туда не звал! И как ты умерла — не думала! И что же ты нас не слушалась?..

(И изо всех этих причитаний выпирал ответ: в смерти ее мы не виноваты, а насчет избы еще поговорим!)

Но широколицая грубая «вторая» Матрена — та подставная Матрена, которую взял когда-то Фаддей по одному лишь имечку, — сбивалась с этой политики и простовато вопила, надрываясь над гробом:

— Да ты ж моя сестричечка! Да неужели ж ты на меня обидишься? Ох-ма!.. Да бывалоча мы все с тобой говорили и говорили! И прости ты меня, горемычную! Ох-ма!.. И ушла ты к своей матушке, а, наверно, ты за мной заедешь! Ох-ма-а!..

На этом «ох-ма-а-а» она словно выпускала весь дух свой — и билась, билась грудью о стенку гроба. И когда плач ее переходил обрядные нормы, женщины, как бы признавая, что плач вполне удался, все дружно говорили:

— Отстань! Отстань!

Матрена отставала, но потом приходила вновь и рыдала еще неистовее. Вышла тогда из угла старуха древняя и, положа Матрене руку на плечо, сказала строго:

— Две загадки в мире есть: как родился — не помню, как умру — не знаю.

И смолкла Матрена тотчас, и все смолкли до полной тишины.

Но и сама эта старуха, намного старше здесь всех старух и как будто даже Матрене чужая вовсе, погода некоторое время тоже плакала:

— Ох ты, моя болезная! Ох ты, моя Васильевна! Ох, надоело мне в а с п р о в о ж а т ь!

И совсем уже не обрядно — простым рыданием нашего века, не бедного ими, рыдала злосчастная Матренина приемная дочь — та Кира из Черустей, для которой везли и ломали эту горницу. Ее завитые локончики жалко растрепались. Красны, как кровью залиты, были глаза. Она не замечала, как сбивается на морозе ее платок, или надевала пальто мимо рукава. Она невменяемая ходила от гроба приемной матери в одном доме к гробу брата в другом, — и еще опасались за разум ее, потому что должны были мужа судить.

Выступало так, что муж ее был виновен вдвойне: он не только вез горницу, но был железнодорожный машинист, хорошо знал правила не охраняемых поездов — и должен был сходить на станцию, предупредить о гакторе. В ту ночь в уральском скором тысяча жизней людей, мирно спавших на первых и вторых полках при полусвете поездных ламп, должна была оборваться. Из-за жадности нескольких людей: захватить участок земли или не делать второго рейса трактором.

Из-за горницы, на которую легло проклятие с тех пор, как руки Фаддея ухватились ее ломать.

Впрочем, тракторист уже ушел от людского суда. А управление дороги само было виновно и в том, что оживленный переезд не охранялся, и в том, что паровозная сплотка шла без фонарей. Потому-то они сперва все старались свалить на пьянку, а теперь замять и самый суд.

Рельсы и полотно так искорежило, что три дня, пока гробы стояли в домах, поезда не шли — их заворачивали другою веткой. Всю пятницу, субботу и воскресенье — от конца следствия и до похорон — на переезде днем и ночью шел ремонт пути. Ремонтники мерзли и для обогрева, а ночью и для света раскладывали костры из даровых досок и бревен со вторых саней, рассыпанных близ переезда.

А первые сани, нагруженные, целые, так и стояли за переездом невдали.

И именно это — что одни сани дразнили, ждали с готовым тросом, а вторые еще можно было выхватывать из огня — именно это терзало душу чернобородого Фаддея всю пятницу и всю субботу. Дочь его трогалась разумом, над зятем висел суд, в собственном доме его лежал убитый им сын, на той же улице — убитая им женщина, которую он любил когда-то, — Фаддей только ненадолго приходил постоять у гробов, держась за бороду. Высокий лоб его был омрачен тяжелой думой, но дума эта была — спасти бревна горницы от огня и от козней Матрениных сестер.

Перебрав тальновских, я понял, что Фаддей был в деревне такой не один.

Что добром нашим, народным или моим, странно называет язык имущество наше. И его-то терять считается перед людьми постыдно и глупо.

Фаддей, не присаживаясь, метался то на поселок, то на станцию, от начальства к начальству, и с неразгибающейся спиной своей, опираясь на посох, просил каждого снизойти к его старости и дать разрешение вернуть горницу.

И кто-то дал такое разрешение. И Фаддей собрал своих уцелевших сыновей, зятей и племянников, и достал лошадей в колхозе — и с того бока развороченного переезда, кружным путем через три деревни, обвизил остатки горницы к себе во двор. Он кончил это в ночь с субботы на воскресенье.

А в воскресенье днем — хоронили. Два гроба сошлись в середине деревни, родственники поспорили, какой гроб вперед. Потом поставили их на одни розвальни рядышком, тетю и племянника, и по февральскому вновь обсыревшему насту под пасмурным небом повезли покойников на церковное кладбище за две деревни от нас. Погода была ветреная, неприятная, и поп с дьяконом ждали в церкви, не вышли в Тальново на встречу.

До околицы народ шел медленно и пел хором. Потом — отстал.

Еще под воскресенье не стихала бабья суетня в нашей избе: старушка у гроба мурлыкала псалтырь, Матренины сестры сновали у русской печи с ухватом, из чела печи пышело жаром от раскаленных торфин — от тех, которые носила Матрена в мешке с дальнего болота. Из плохой муки пекли невкусные пирожки.

В воскресенье, когда вернулись с похорон, а было уж то к вечеру, собрались на поминки. Столы, составленные в один длинный, захватывали и то место, где утром стоял гроб. Сперва стали все вокруг стола, и старик, здловкин муж, прочел «Отче наш». Потом налили каждому на самое дно миски — медовой сыты. Ее, на помин души, мы выхлебали

ложками, безо всего. Потом ели что-то и пили водку, и разговоры становились оживленнее. Перед киселем встали все и пели «Вечную память» (так и объяснили мне, что поют ее — перед киселем обязательно). Опять пили. И говорили еще громче, совсем уже не о Матрене. Золовкин муж расхвастался:

— А заметили вы, православные, что отпевали сегодня медленно? Это потому, что отец Михаил меня заметил. Знает, что я службу знаю. А иначе б — со святыми помоги, вокруг ноги — и все.

Наконец ужин кончился. Опять все поднялись. Спели «Достойная есть». И опять, с тройным повторением: вечная память! вечная память! вечная память! Но голоса были хриплы, розны, лица пьяны, и никто в эту вечную память уже не вкладывал чувства.

Потом основные гости разошлись, остались самые близкие, вытянули папиросы, закурили, раздались шутки, смех. Коснулось пропавшего без вести мужа Матрены, и золовкин муж, бья себя в грудь, доказывал мне и сапожнику, мужу одной из Матрениных сестер:

— Умер, Ефим, умер! Как бы это он мог не вернуться? Да если б я знал, что меня на родине даже повесят — все равно б я вернулся!

Сапожник согласно кивал ему. Он был дезертир и вовсе не расставался с родиной: всю войну перепрятался у матери в подполье.

Высоко на печи сидела оставшаяся ночевать та строгая молчаливая старуха, древнее всех древних. Она сверху смотрела немо, осуждающе на неприлично оживленную пятидесяти- и шестидесятилетнюю молодежь.

И только несчастная приемная дочь, выросшая в этих стенах, ушла за перегородку и там плакала.

Фаддей не пришел на поминки Матрены — потому ли, что поминал сына. Но в ближайшие дни он два раза враждебно приходил в эту избу на переговоры с Матрениными сестрами и с сапожником-дезертиром.

Спор шел об избе: кому она — сестре или приемной дочери. Уж дело упиралось писать в суд, но примирились, рассудя, что суд отдаст избу не тем и не другим, а сельсовету. Сделка состоялась. Козу забрала одна сестра, избу — сапожник с женою, а в зачет Фаддеевой доли, что он «здесь каждое бревношко своими руками перенячил», пошла уже свеженная горница, и еще уступили ему сарай, где жила коза, и весь внутренний забор, между двором и огородом.

И опять, преодолевая немощь и ломоту, оживился и помолодел нена сытный старик. Опять он собрал уцелевших сыновей и зятей, они разбировали сарай и забор, и он сам возил бревна на саночках, на саночках, под конец уже только с Антошкой своим из 8-го «Г», который здесь не ленился.

Избу Матрены до весны забили, и я переселился к одной из ее золовок, неподалеку. Эта золовка потом по разным поводам вспоминала что-нибудь о Матрене и как-то с новой стороны осветила мне умершую.

— Ефим ее не любил. Говорил: люблю одеваться культурно, а она — кое-как, всё по-деревенски. Ну, раз, мол, ей ничего не нужно, стал все излишки пропивать. А одново́ мы с ним в город ездили, на заработки, так он себе там сударку завел, к Матрене и возвращаться не хотел.

Все отзывы ее о Матрене были неодобрительны: и нечистоплотная она была; и за обзаводом не гналась; и не бережн́ая; и даже поросенка не держала, выкармливать почему-то не любила; и, глупая, помогала чужим людям бесплатно (и самый повод вспомнить Матрену выпал — некого было дозвать огород вспахать на себе сохою).

И даже о сердечности и простоте Матрены, которые золовка за ней признавала, она говорила с презрительным сожалением.

И только тут — из этих неодобрительных отзывов золовки — выплыл передо мною образ Матрены, какой я не понимал ее, даже живя с нею бок о бок.

В самом деле! — ведь поросенок-то в каждой избе! А у нее не было. Что может быть легче — выкармливать жадного поросенка, ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день варить ему, жить для него — и потом зарезать и иметь сало.

А она не имела...

Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни.

Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев.

Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая сестрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, — она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы...

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша.

